

Юрий Аракчеев

ФАНТАЗИЯ

Юрий Аракчеев

Фантазер

«Издательские решения»

Аракчеев Ю.

Фантазер / Ю. Аракчеев — «Издательские решения»,

О любви к жизни, природе и красоте — рассказы и повести, вошедшие в этот сборник. Сегодня даже среди самых богатых людей что-то не часто видим мы действительно счастливых. Не в «дельцах с железными локтями», по выражению писательницы Ю. Друниной, выход для нашей страны, «встающей с колен». А в другом. Это «другое» и есть главная тема сборника.

Содержание

Фантазер	6
Сверкающая гора окуней	15
Девчонки	19
Первый тетерев	20
Запах берез	23
Зимняя сказка	26
Яркие пятна солнца	30
Листья	35
Выбор	37
Тамара в красном	41
Поликсена	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Фантазер
Рассказы и повести
Юрий Аракчев

© Юрий Аракчев, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Фантазер

Хоть бы посмотрела еще раз. Нет. Прислонилась к стенке, а глаза – в сторону. Даже зевнула слегка. Потом случайно скользнула взглядом, не задерживаясь. В глазах – пустота.

Печаль и злость – беспомощная, хотя и справедливая злость – закипали в Алексее. Так всегда. Эта – как все. По-че-му?! Почему они не обращают внимания на него? Значит, он никуда не годится? Да, конечно, лицо у него, наверное, подкачалось... И очки. Ну и что, что очки? Некоторые даже любят, когда мужчина в очках. И все-таки... Но ведь он не просто токарь, он студент-заочник! Ну вот, и это ничего не значит. У него нескладная фигура. Длинный, сутулый какой-то. Мать так часто говорила: не горбись! А он горбился. И еще слишком длинные ноги.

Да, совсем по-другому она взглянула на черноволосого спортивного парня, вошедшего на следующей остановке. На него нельзя было не взглянуть. Энергичный, подтянутый. В водолазке и фирменных джинсах. В глазах ее сверкнули искры неподдельного интереса. А парень лишь мельком посмотрел на нее и, развернув газету, погрузился в чтение. И за две-три минуты – до следующей остановки – она шесть раз посматривала на парня, которому это было до лампочки. Алексей посчитал. А на него, Алешу, не взглянула ни разу.

Парень вышел. На следующей выходить Алеше. Она покинула свое место у стенки и тоже протиснулась к дверям, оказавшись чуть впереди студента-заочника. Ее плечо и шея в вырезе блузки, и завитки волос над розовым ухом, казалось, излучали насмешку. А может быть, даже презрение к нему. Беспомощный, нескладный, смотрел на нее Алексей. Она почти касалась его плечом, и он ощущал ее тепло.

Чего бы он только ни отдал, чтобы познакомиться с ней! Даже секцию бокса, в которую вчера записался наконец, хотя это так много стоило. И первый разряд по самбо отдал бы. Если бы, конечно, он у него был.

Сейчас они выйдут из вагона, и она растворится в толпе. Навсегда. Девушка из сна. Из сна наяву. Он больше никогда ее не увидит. Только будет иногда вспоминать. И фантазировать.

Ресницы длинные. Очень красивая щека – гладкая, смугловатая. Но больше всего будоражит осанка ее. Высоко поднятая голова, развернутые плечи, стройная... Да, бесполезно и думать.

И опять – в этот короткий миг, пока поезд метро замедлял ход перед остановкой, – навалилось вдруг то, чем Алеша жил, отчего мучился все последнее время. Мастер участка сегодня опять грубо разговаривал с ним – в который уж раз! – а он, Алексей, вместо того чтобы ответить достойно, молчал, глядя растерянно на свои дрожащие красные руки, и мастер, униживший не только его, Алексея, но и себя – в первую очередь себя самого! – не только не понял собственной вины – своей ошибки! – но отошел, еще более утвердившийся в своей якобы правоте – правоте несправедливой! – и, кажется, еще более презирал Алексея. Опять с этим ящиком! Алексей поставил его справа – как удобнее, как *рациональнее!* – а он, мастер, нарочно – из принципа, как всегда! – только блеснул глазами: «А ну, помоги!». И Алексей сам, своими руками помог ему передвинуть ящик налево – что ведь вопреки технологии было! так ведь неудобно детали класть! – и ничего не сказал, только ухмыльнулся криво по своему обыкновению. С самого начала они из-за мелочи повздорили. Алексей тогда в чем-то робко ему возразил, и мастер навсегда, как видно, невзлюбил его. И ничего нельзя было сделать.

А самое мучительное было то, что Алексей знал: своим молчанием, своей унылой покорностью он предает не только себя, он предает и мастера, который остается в неведении истинного положения вещей, утверждает в своем превратном представлении о мире. Мире, где якобы есть нормальные, правильно и здраво мыслящие, полноценные люди – как он, мастер! – а есть забитые, темные овечки, как этот Алексей. Алексей не имел ничего против того, чтобы

подчиняться – тогда, когда это необходимо для дела! – но подчиняться всегда и во всем, не иметь права слова сказать – это ведь ужасно! Но именно к этому дело шло. Он это хорошо понимал. Но не понимал того мастер. А Алексей не мог ему объяснить.

Поезд метро остановился. Девушка вышла. Вышел и Алексей. Он шагал вслед за ней и любовался ею. Они поднялись на эскалаторе и вышли на солнечную улицу.

Он любовался тем, как она идет, легко неся свою гордую голову, и радуется существованию в этом мире, ей хорошо в нем. И в ней самой как будто бы есть частица солнца, которая освещает тех, с кем она рядом.

Кто она? Студентка? Учится где-нибудь в университете или в педагогическом? Он шел за нею, то теряя, то вновь находя в толпе. Перед тем, как окончательно потерять...

Вот подземный переход, сейчас она войдет в него, скроется под землей, а Алексей потащится своей дорогой, проводив ее взглядом. Он уже вздохнул горестно перед прощанием, перед тем, как она спустится в переход.

Но девушка не захотела спускаться. Она вдруг резко изменила свой путь и подошла к киоску «Союзпечать». И остановилась, разглядывая журналы.

И вздрогнуло, затрепыхалось сердце Алексея. Девушка спокойно стояла у киоска, не торопясь уходить. И застучало в висках у Алексея, и пересохло в горле. Сегодня или никогда! Хотя бы его ждал позор, невыносимый позор отказа. Трудно, невыносимо трудно.

Случалось в его жизни, когда так же вот мучительно было и когда понял он: вот сейчас, вот сию минуту – сейчас или никогда! – он сделает то, что хотел, но чего боялся всегда – ну, вот, к примеру, прыгнет с пятиметровой вышки бассейна первый раз в жизни. Хотя это очень страшно, и он может разбиться насмерть и захлебнуться. И его будут вытаскивать из зеленой, насыщенной хлором воды, и понесут обвисшее мертвое тело. И прощайте тогда его замыслы и мечты... В тот раз он уже простился с жизнью и ватными ногами взошел по ступенькам на вышку, и – прыгнул, закрыв глаза. И больно ударился грудью о воду, и ушел в глубину в пузырьках, а когда вынырнул, сердце его колотилось, как молот. Но он был счастлив! Он был по-настоящему счастлив. И помнил об этом.

Но вот опять. Испытание. Экзамен. Сейчас он подойдет на своих длинных, нескладных ногах, в своих нелепых очках, сутулый, а она презрительно смерит его взглядом и скажет ему что-нибудь такое, от чего он смутится и уже никогда больше, никогда...

Она сделала шаг от киоска. Пора!

– Девушка! Минуточку. Вы... Вы мне нравитесь. Очень. Я понимаю, что... Но... Знаете что? Я буду ждать вас здесь. Завтра. В это же время, ладно? И послезавтра. Каждый день. Когда бы вы ни пришли. В это же время. В шесть сорок, ладно? Как сейчас. Видите, на часах... И мы... Пойдем куда-нибудь, хорошо? Вы очень мне нравитесь, правда! Договорились? В это же время завтра. Здесь. Ладно?

Она продолжала идти, только замедлила шаг, а он шел рядом. Она с недоумением и удивлением смотрела на него и все замедляла и замедляла шаги по мере того как он говорил, потом остановилась совсем, но он кончил свой сумбурный монолог и, сказав последнее «Ладно?», быстро пошел в сторону – так, что она даже не успела ничего ответить.

Уходя, он обернулся, помахал ей рукой и улыбнулся коротко. Ушел, скрылся в толпе, издали уже мелькала лохматая его голова. Однако девушка успела разглядеть его лицо и глаза в тот миг, когда, договаривая, он все же посмотрел на нее, и ее сначала пронзило сочувствие, жалость. Но странная какая-то сила мелькнула вдруг в его глазах за стеклами очков, и она смутила ее. Это было очень быстро, в долю секунды, но запомнилось. Она только покачала головой, когда он с такой быстротой скрылся в толпе, улыбнулась и пошла своей дорогой – вниз, по ступенькам, на переход.

В шесть сорок? Завтра? В это же время? И каждый день? А почему не сегодня? Смешно! Даже ответа не дождался, чудака. Она машинально посмотрела на свои часики. Да, шесть сорок с хвостиком.

Она подумала еще, что завтра в половине седьмого они с подругой собрались ехать в фирменный косметический магазин – там будто бы должна появиться какая-то особенная французская губная помада. У подруги знакомые, и они пообещали, что будет непременно. Странный какой-то парнишка, но милый все-таки. Искренний. Это не так уж часто бывает. Слишком много развелось наглецов. Приставучих и до смешного уверенных в себе. А этот – наоборот. Она заметила, конечно, что он ехал с нею в одном вагоне метро, но никак не выделила его из толпы. Обыкновенный студент, усталый. Ей и в голову не могло прийти, что он подойдет... «И завтра, и послезавтра. В шесть сорок». Смешно! «Наверное, мне идет эта блузка», – подумала она и улыбнулась.

А Алексей, отдышавшийся, замедливший наконец свой быстрый шаг, уже ненавидел себя. Убежал! Убежал панически! Как глупо. То, что подошел, хорошо, конечно, но так нескладно! Ах, какой же он... Хорошо еще, что рукой помахал. Сообразил-таки. Но бесполезно. Не придет. Кому он нужен такой?

И все-таки. Он поступил, пусть неумело, истерически как-то, но – поступил. Главное всегда – поступок, и не столь важно, принесет ли он успех; хуже нет, если, думая о действии, зная, что действовать необходимо, ты мнешься, презираешь сам себя, сам себя ненавидишь. Нет, она не придет, это ясно! А все же он «прыгнул».

По мере того как он шел, остывая и успокаиваясь внешне, воображение его разыгрывалось все больше. Энергия, которой было в нем так много и которая лишь частично, лишь в очень малой степени нашла выход в поступке, теперь продолжала действовать. Но так как поступков не было больше, она принимала форму воображаемую, и тут-то не было удержу цветистым фантазиям.

Вот он приходит завтра в шесть сорок, как обещал, приходит и она, конечно, и они идут с ней... Ну, в парк, например, или нет – едут в лес, гуляют, разжигают костер, потом идут на речку купаться. Сердце Алексея забилося чаще, все не раз пережитые в воображении прекрасные мгновения – так и не осуществленные пока в реальной жизни! – опять как бы переживались заранее, но еще прекраснее, еще ярче, чем раньше, тем более что теперь был для них реальный объект – солнечная стройная девушка с длинными ресницами, большими серыми глазами. Господи, ведь так возможно все это, реально вполне, ведь немыслимое счастье здесь, рядом, и неужели же... неужели... Завтра!

Фантазия его разыгрывалась все больше. Вот они уже постоянно встречаются, и он... Он совсем по-другому ведет себя в жизни – и с мастером участка тоже! – он даже ходит к начальнику цеха насчет ящика, если уж на то пошло, он скажет ему... Он и мастеру скажет!

Весь вечер Алексей был почти веселый и на другой день хотел сказать мастеру что-нибудь такое, что поставило бы все на свои места, он просто жаждал стычки, он ничего не боялся и демонстративно поставил ящик с деталями справа. А когда карщик подъехал, они просто-напросто подтащили ящик к автокару вдвоем. И все в порядке! И чего это он вообще злился на мастера? Смешно. И к начальнику цеха идти ни к чему – просто сказать твердо, настоять на своем. Не выгонит же и драться не будет... Главное – самому быть уверенным, и тогда...

Но приближался вечер.

В четыре – сразу после смены – начались занятия в секции бокса. Это было самое первое занятие с новичками, вел секцию довольно известный в прошлом боксер. Записалось человек двадцать, все разделись до трусов, выстроились, и тренер пошел вдоль строя, критически осматривая каждого. Около Алексея он на миг задержался и так скользнул взглядом по его впалой груди и голенастым худым ногам, что тому захотелось уйти немедленно.

Но Алексей не ушел, он только вздохнул глубоко и выпрямился, отчего тренер слегка ухмыльнулся. А Алексей твердо решил про себя, что с нынешнего дня начнет заниматься с гантелями по вечерам и не пропустит ни одного занятия в секции, если, конечно, тренер его не выгонит.

Потом начались упражнения, до тренировочных боев не дошли, и слава богу, а то неудобно было бы идти на романтическое свидание к метро с разбитым носом.

Но и занятия в секции не отвлекли Алексея от мыслей о вечере. Чем ближе к шести, тем все больше гас его пыл, становились неуверенными движения, а фантазии, которыми он так увлекся вчера вечером и ночью, померкли и казались теперь – в ожидании неминуемо бледной реальности – смешными и глупыми. «Навоображал же я!» – думал он, досадуя на себя, и совсем по-другому уже представлял свой вчерашний поступок, вовсе не решительный, как казалось накануне, а истерический, жалкий. Любой хоть немного уважающий себя парень наверняка не стал бы вести себя так глупо и уж, во всяком случае, не говорил бы эту несусветную чушь: в шесть сорок, каждый день, завтра и послезавтра, хоть месяц. Наоборот. Сегодня или никогда – вот девиз смелых и достойных! И потом он ведь не дал ей ответить. Вдруг она замужем? Или любит кого-то... Ее ведь тоже можно понять. Конечно, она, может быть, живет поблизости и, возвращаясь из института или с работы, бывает там в это время, но теперь, из-за Алексея, она, чего доброго, будет специально проходить другим маршрутом.

Зачем? Зачем он вообще все это сделал – связал себя обещанием, глупым, никому не нужным, а теперь непонятно для чего едет.

И вот наконец станция. Та самая. Алексей вышел и медленно направился к эскалатору, а затем, поднявшись, миновал людную площадь, залитую вечерним солнцем, и зашагал к подземному переходу. Было пятнадцать минут седьмого. Еще рано. И все же он украдкой вглядывался в лица прохожих, искал глазами ее лицо и солнечную ее фигурку. Вдруг?

Да, теперь, увидев себя со стороны, он окончательно осознал: он странный, не от мира сего, он, в сущности, не живет, как все люди. То, что делает он, – лишь слабый отсвет того, о чем думает, что хотел бы делать. Каким умелым, удачливым, сильным бывал он в воображении, в своих пестрых фантазиях, и как бледно, тускло выглядело все в действительности! Актер, спортсмен, художник, директор крупного завода, капитан корабля, музыкант – кем он только ни перебивал! И каждый раз не просто актер, не просто спортсмен или музыкант. Великий актер, знаменитый спортсмен, музыкант-виртуоз! Мастер своего дела, перед которым преклоняются люди! А уж про успехи у женщин и говорить не приходится... Странная уверенность жила в нем: он мог бы и на самом деле добиться всего этого! Пусть не в такой уж превосходной степени, но... Но как это сделать? Что мешает?

Стоя недалеко от того самого места, где совершил вчера «героический» поступок, он ненавидел себя. Он презирал себя, он страстно желал, он молился, чтобы девушка не пришла. Подойти к ней сейчас, в этом состоянии, в каком он был, казалось невыносимым, и в воображении уже разыгрывалась такая сцена: она идет, а он прирос к месту, не в силах шаг сделать ей навстречу, она проходит мимо – навсегда! – и ему остается разве что... Да, покончить раз и навсегда. Вопрос только в том, каким способом...

Занятый своими мрачными мыслями, он услышал веселый и звякающий звук и вслед за тем раскаты смеха. Не успев еще представить себе картину своей романтической гибели, он вернулся к действительности и посмотрел в ту сторону, откуда слышался хохот.

На парапете, ограничивающем спуск в подземный переход, как раз над головами идущих по лестнице из-под земли и под землю, расположилась компания молодых парней. В первый миг Алексей еще не понял, что так веселит их, но, когда осознал, ему стало ужасно неприятно, даже мерзко. «Скоты, ах скоты!» – думал он, с ненавистью глядя на них. Лицо его побледнело.

Парней было пятеро. Трое сидели на парапете, двое стояли рядом, и все смотрели вниз, на людей. Только один, самый старший по возрасту и самый высокий, – по-видимому, заводила компании, – иногда, сучая, поднимал голову и лениво оглядывал проходящих поверху, осо-

бенно останавливая свое внимание на девушках, подмигивая им или отпуская вслед шуточки. Тот, который стоял рядом с высоким, был в очках, с задумчивым лицом мыслителя, в вытянутых пальцах он держал большой рубль – монету из медно-никелевого сплава – и, как охотник или, скорее, как рыболов, вглядывался в проходящих под ним людей, и их стриженные или нестриженные, пышноволосые, кудрявые, лысые головы и, выбрав жертву, бросал чуть впереди нее, под ноги, блестящий кружок. Звеня, ударялась монета о каменные ступени, жертва поднимала ее, тут же следовал окрик сверху, парень-«мыслитель» делал вид, что уронил случайно, и протягивал руку. И жертва – чаще всего это бывали пожилые люди, старушки, – кряхтя, шла наверх, огибала парапет, подходила, торопясь, к ребятам и протягивала кому-нибудь из них монету.

– Берите, сынки, не теряйте больше.

Бывало и так, что, погруженная в свои мысли и заботы, жертва не замечала упавший рубль или просто не хотела поднять, но тогда кто-то из ребят, – как правило, «мыслитель» или высокий – окликал ее:

– Эй, не будете ли вы так добры...

Парни развлекались.

Страшного ничего не было как будто – ведь если кто-нибудь все же не выполнял просьбу парней, они отпускали его с миром, и один из них даже раз сам сбегал за монетой, которую никто не хотел поднимать, но происходящее почему-то безмерно разозлило Алексея. «Издаются, – думал он, все больше злясь. – Издаются над пожилыми. И этот длинный нахал... Девчонок задевает».

Девушки все не было, хотя часы показывали сорок пять минут седьмого, да ее и не будет сегодня – и никогда! – он уверился уже окончательно и стоял только по инерции, не зная, что делать дальше, как провести этот бесконечный вечер, – занятий в институте нет, а домой идти не хочется. И вообще на душе было кисло, не хотелось жить.

По ступенькам поднималась пожилая женщина, нагруженная сумками наперевес, «мыслитель», увидев ее, тотчас бросил монету, она покатилась, звеня и подпрыгивая, женщина мгновенно остановилась, провожая глазами блестящий кружок, потом сделала несколько шагов назад, вниз по ступенькам, и, взяв сумки в одну руку, с трудом наклонилась. Парни уже беззвучно смеялись, подталкивая друг друга локтями, а женщина, которой невдомек было посмотреть наверх, глазами поискала впереди предполагаемого владельца монеты и, не найдя его, сунула рубль в карман жакетки.

– Мамаша! – тотчас послышался сверху окрик «мыслителя». – Извините, но это я уронил.

Все пятеро сверху серьезно смотрели на женщину. Та смутилась, засуетилась как-то, торопясь, вытаскила монету из кармана жакетки, заулыбалась испуганно, жалко и заторопилась наверх со своими сумками, держа монету в вытянутой руке, словно пытаясь всем своим видом показать раскаяние и готовность ее вернуть.

– Сюда, пожалуйста, – вежливо сказал «мыслитель», когда женщина поднялась, и она, пожилая, годящаяся любому из ребят чуть ли не в бабушки, отягощенная своей ношей, запыхавшаяся от подъема, послушно обогнула край парапета и, подойдя, протянула монету «мыслителю».

– Возьми, сынок, не теряй больше, – сказала она заискивающе.

Не успела она отойти, взяв по-прежнему в обе руки тяжелые свои сумки, как ребята разразились веселым, издевательским хохотом.

Почему она не плюнула в их подлые рожи? Чего она, старая, испугалась?

Ненавидя, испепеляя взглядом, смотрел Алексей на парней. Хохотал «мыслитель», потеряв всю свою сдержанность; перегибаясь пополам, дергаясь и паясничая, подпрыгивал от неудержимого смеха самый маленький, белобрысый, – он пытался изобразить, как женщина шла с монетой, перекосившись набок от тяжести своих сумок; снисходительно ухмылялся

высокий. Сейчас было ясно видно, что все четверо, даже «мыслитель», работают на высокого – и только он один не поглощен происходящим, стоит выше, даже скучает и посматривает со вниманием по сторонам, опять, как видно, выискивая девушек, чтобы отпустить плоскую шуточку.

И вдруг высокий увидел Алексея. Блуждающий, ленивый, скучающий взгляд его мгновенно остановился и отвердел. Высокий заметил, с какой ненавистью смотрел на них Алексей, понял его взгляд. Не отводя глаз от лица Алексея, высокий медленно поднялся. И тотчас все четверо тоже посмотрели на Алексея. Тихо стало. Пять пар глаз, не отрываясь, смотрели в лицо наблюдателя-фантазера, а тот почувствовал, как холодок поднимается от середины живота и леденеет лицо. Словно прожекторы, сошедшиеся в одной точке и осветившие внешне самолет-нарушитель, остановились на лице Алексея взгляды ребят, и он, недавно свободно реявший в бездне своих фантазий, безнаказанно несущий груз ненависти в отсеках своего сознания, показался теперь самому себе маленьким и беспомощным – яркая, видная всем, ослепленная прожекторами точка, вдруг потерявшая управление.

А высокий уже медленно шел, приближался. И за ним четверо остальных. На ходу протянул руку высокий, и «мыслитель», сразу поняв, вложил в его пальцы монету. Тот самый рубль, только что отданный женщиной.

И не стало солнца, освещенной и людной площади, мороженщицы со своим лотком, киоска «Союзпечать», часов на столбе. В дрожащем голубовато-сером мареве шли к Алексею пятеро, все ближе и ближе, и вот уже все, весь белый свет померк, остались лица, а главное – одно лицо, скуластое, жесткое, с наведенными на Алексея безжалостными серо-голубыми глазами. И четверо обступили его вдруг, дыша возбужденно, нервно, как охотники, окружившие дичь, и жарко стало в этом тесном кругу, и не хватало воздуха в смешавшихся близких дыханиях.

Постояв несколько секунд, смерив взглядом с ног до головы тощую, нескладную фигуру Алексея, высокий взял монету между большим и указательным пальцами, покрутил, словно фокусник, демонстрирующий коронный трюк, и как бы нечаянно уронил ее на асфальт. Она звякнула, и он тотчас накрыл ее ногой, пригвоздив на месте, потом убрал ногу и тихо сказал:

– Подними.

Кровь бросилась в лицо Алексею. Он сделал инстинктивное движение, как бы желая уйти, но четверо плотным кольцом окружили его, и кто-то один слегка ткнул его в бок локтем. Уйти было некуда.

Мысленно Алексей метался, как загнанный зверь, и не хватало воздуха, и было ясно уже, что спасения нет, что драться с ними бесполезно, из них чуть ли не каждый сильнее его. «Вот ведь тоже с секцией этой поздно так спохватился!» – промелькнула лихорадочная мысль, ну хоть бы самбо немного знал, но нет, нет, беспомощен он, а их пятеро, и, может быть, не так страшно, если убьют, но – изувечат! Поднять?.. Нет, нет, ни за что – такое унижение! – только что сам ведь смотрел на них, ненавидя, уничтожая их, в воображении даже подходя к ним и лихо расправляясь – в воображении! в фантазиях! – а сейчас стоял в кольце, обложенный, как волк охотниками, слабый, затравленный волк, или нет, олень, окруженный волками – это точнее! – и деваться некуда, он даже один раз ударить как следует не сможет, его сомнут.

И появилась вдруг странная двойственность в сознании Алексея: первая, как бы близкая его часть была здесь, вот тут, в кольце, где он чувствовал себя ужасно, отчаянно, и спасения не было, животный, нерассуждающий страх сковал тело, к горлу подкатывала тошнота, и неприятная, дрожащая какая-то слабость была в низу живота и в коленках, – а вторая, как бы дальняя часть сознания видела всю картину со стороны, витала над ними где-то: людная площадь, освещенная спокойным вечерним солнцем, он, Алексей, в кольце пяти, монета, лежащая на асфальте у его ног, высокий парень, стоящий перед ним, остальные четверо вокруг. Эта дальняя-дальняя часть сознания с пронзительным, олимпийским каким-то спокойствием видела все, и, казалось, ехидно посмеивалась, и как будто бы даже радовалась происходящему,

и насмешливо, с мрачной улыбкой говорила: ну вот, ты хотел кончить как-то – давай же, в бою, как настоящий мужчина! А если тебя не убьют, то ведь в больнице тебе даже легче будет предаваться своим неумным фантазиям, ничто не будет помехой, и не стыдно, потому что оправданием тебе будет твое покалеченное тело... «Нет, нет, только не это, пожалуйста, – тут же отчаянно возопила ближняя часть сознания, которая была конечно же слышнее, понятнее Алексею, – я исправлюсь, я буду теперь как нужно, я в секцию буду ходить, я с гантелями, я больше не буду, пожалуйста...»

Но высокому и остальным четверым не было дела до этой распри в душе Алексея. Своим взглядом ненависти он оскорбил их в лучших чувствах – они ведь просто развлекались, они не делали ничего дурного, они издевались не над всеми, а лишь над теми, кто, застигнутый, от страха терял достоинство и, вместо того чтобы просто бросить монету и идти своей дорогой, униженно подносил им ее. Ведь были такие, кто просто-напросто не поднимал чужую монету или, подняв и услышав окрик сверху, либо бросал ее им, либо просто-напросто оставлял на ступенях, – и таких они не трогали, даже не смеялись им вслед, уважая. Жертва сама частенько провоцирует на преступление, противно смотреть на существо, охваченное с головы до ног страхом, не благодаря ли им, трясущимся, подонки разных мастей и рангов чувствуют себя безнаказанными и наглеют тем сильнее, чем больше сходит им с рук? Они, пятеро, во главе с высоким не над людьми издевались, они выуживали человеческую алчность и страх, они, может быть, даже считали себя философами и исследователями, обеспокоенными мельчающей человеческой сутью.

Но только одно они упустили. Ведь их пятеро было, и никто из прохожих не знал, что на самом деле у них на уме, и нету ли в их карманах чего-нибудь посерьезнее, пожестче и поострее, чем круглая монета из медно-никелевого сплава, – бывают ведь всякие «исследователи» и «экспериментаторы»... Исследовать хочешь? Исследуй честно, на равных, не окружая себя толпой ассистентов и прихлебателей – так сказал бы высокому Алексей, если бы мог, если бы между ними был честный диспут, если бы главный «исследователь», увлекшийся своим мнимым избранничеством, не стоял бы сейчас перед ним, многозначительно засунув руки в карманы и не спуская с него глаз, особенно нахальных и уверенных оттого, что, в сущности, высокий играл в беспроигрышную игру: Алексей один, да хлипкий, да еще и в очках, которые так легко сбить, а их пятеро.

Ах, как приятно вспомнить здесь фильмы, где какой-нибудь худощавый герой, окруженный кучей бандитов, выходил победителем потому, что был, оказывается, чемпионом дзюдо или знаменитым боксером, или случайно в кармане его потертых ковбойских штанов оказывался «смит-вессон», с которым наш герой управлялся так, как ни одному из бандитов не снилось... Не знал приемов дзюдо и бокса Алексей, не было в карманах его ни «смит-вессона», ни кольта, ни даже завалящего браунинга – ничего, кроме расчески и ключей от квартиры, да и ключи-то были несерьезные – от «английских» замков.

И красноречием тоже вряд ли мог сразить своих противников студент-заочник, потому что никто его ни о чем не спрашивал, ему просто приказали один раз, а теперь повторили еще: – Ну!

Пропала жизнь, в любом случае пропала, потому ли, что сейчас его, Алексея, избьют до такой степени, что уже не скоро сможет он пойти в секцию бокса и осуществить тем самым хоть одну из своих безудержных фантазий, пусть в малом приближении, потому ли, что он сейчас наклонится и поднимет монету, ибо лучше совершить этот унижительный акт, но сохранить здоровье и возможность сатисфакции в будущем, чем пострадать в явно неравной, хотя и справедливой борьбе. И пусть во втором случае он физически будет, возможно, спасен, морально он все равно погибнет, потому что воспоминание об унижении уже не покинет его и даже фантазии – единственная отрада! – очень возможно, утратят яркость и пыл.

Сознание безвыходности ситуации, ощущение полной беспомощности сковало Алексея, и, словно за глотком свежего воздуха – напоследок! – словно перед гибелью своей – физической ли, моральной ли, – он выглянул из сузившегося круга, бросил взгляд на идущих, как ни в чем не бывало, прохожих. И увидел девушку.

Она, как и вчера, отходила от киоска и оглянулась по сторонам, и, несмотря на то что Алексей был окружен пятерыми, она все же увидела его: возможно, солнце как раз в тот момент блеснуло на стеклах его очков и послало – ей ли, кому-нибудь вообще – взывающий об истине солнечный зайчик: «Эй, кто-нибудь!..»

Все очень просто – подруга позвонила ей, сказала, что помады сегодня не будет, а потому вечер остался свободным, и после работы девушка, как всегда, возвращалась домой.

Она увидела его и тотчас вспомнила, а он заметил, что она чуточку, совсем слегка, но все-таки улыбнулась. Ему. И это было поразительно, странно и так неуместно сейчас, в этой вот «имеющей быть» ситуации. Случайно? А может быть, нарочно пришла?

Она ничего не поняла, наверное, а если что-то и поняла, то, конечно, лишь чуть-чуть, вероятно, именно этим и была вызвана некоторая заминка в ее движении. То она шла, а теперь почти остановилась и опять взглянула на Алексея.

Но это было как иллюзия, как привычная фантазия Алексея, потому что в следующий миг суровая действительность вернула его на землю – в узкий круг пятерых «исследователей»-любителей, в котором надлежало Алексею сделать неминуемый выбор.

– Ну, – спокойно пока еще, но уже на несколько более высокой ноте опять повторил высокий и носком ботинка наступил на край монеты. – Что же ты медлишь? Поднимай. Я же вижу, что ты хочешь поднять, – добавил он, сначала взглянув на монету, а затем вновь впериw свой напряженный исследовательский взгляд в зрачки Алексея. – Ведь вы только ненавидеть умеете, фантазеры, – сказал он еще. – А как до дела... Давай же.

И один из ассистентов, теряя, как видно, свое философское терпение и возбужденный повышением тона главного, придвинулся к Алексею ближе – совсем приник к нему, выдыхая остаточный никотин из своих прокуренных, не совсем здоровых легких и делая атмосферу в кружке еще более душной. В пылу эксперимента он слегка толкнул Алексея острым локтем в бок – так пикадор, освобожденный от участия в главной схватке, рискующий несравнимо меньше, чем тореро, лишь дразнит приговоренного к смерти быка, которому никакое счастливое стечение обстоятельств, никакое его умение и мужество не подарят единственного, что нужно ему, – жизни. Ни денег, ни славы, ни тупого поклонения толпы – обыкновенной жизни среди полей и лугов, жизни простой, но оттого ничуть не менее дорогой и прекрасной...

Алексей почувствовал, что нет больше сдержанности, нельзя терпеть, сейчас или никогда, и – будь, что будет! – пусть даже он погибнет, ведь и это не жизнь. И пропала вдруг злость, и страх пропал, и все стало ясно, бело, и, не прилагая уже никакого усилия, естественно и просто, как будто не он уже, а за него кто-то, спокойно сказал он, глядя прямо в глаза высокому:

– Знаешь что? Катись-ка ты со своей монетой. Вас пять, а я один – не стыдно? Над стариками издеваетесь, «исследователи»! Дураки вы на самом деле, а никакие не крутые. Не стыдно? Честную игру надо, а не так. Сам поднимай!

И только начал он говорить, произнес первое слово, прекратился разом озноб, и колени окрепли.

Высокий, совершенно не ожидая именно таких столь простых истин, высказанных спокойным тоном, ошарашенно вскинул голову, в исследовательском взоре его появилось недоумение и вопрос. А Алексей сделал то, что казалось немислимим, непредставимым лишь несколько секунд назад – он спокойно раздвинул двоих, и вышел из круга, и так же спокойно направился к девушке, которая почему-то остановилась и, чуть улыбаясь, ждала его.

Двое из ассистентов – те, которых он так внезапно раздвинул, – инстинктивно качнулись вслед Алексею, но вовремя оглянулись на высокого. Тот странно смотрел вслед беглецу и, как

видно, не собирался догонять, а потому ассистенты остановились тоже. Главный «исследователь» усмехнулся слегка, тряхнул головой и, переведя взгляд на одного из ассистентов, сказал:

– Подними деньги.

Тот беспрекословно выполнил приказание.

– Вытри, – велел главный.

Тот старательно вытер монету о материю своих джинсов.

«Оближи», – вертелось у высокого на языке, но он промолчал.

– Давай сюда.

Монета перекочевала в его карман.

– Хватит, все по домам, – сказал высокий и посмотрел вслед удалявшейся паре. – Видали девочку? – добавил он и цокнул языком. – Эх вы...

Он не мог бы объяснить это «Эх вы...», но было ему неприятно и кисло, и он был недоволен собой, хотя вряд ли смог бы объяснить почему. Но недоволен, точно. И пикадоры молчали обиженно.

Так обстояли дела у пятерых, когда Алексей их покинул. И никто не бросился вслед за ним, когда он подходил к девушке.

– Здравствуйте, – сказал он, подойдя. – Я знал, что вы придете. Меня зовут Алексей. А вас?

Еще не совсем прошла дрожь, еще сводило судорогой лопатки в ожидании внезапного удара, но огромная какая-то радость поднималась в нем, и он уже ощущал теплые лучи солнца на своем лице.

– Таня, – сказала она и улыбнулась.

Они медленно шли по солнечной площади – девушка рядом, – и это было так, как в лучшей из его фантазий. Но ведь это же – подумать только! – была действительность, жизнь! Живая, земная, реальная девушка – Таня – не в фантазии, а на самом деле! – шла рядом с ним и смотрела на него и улыбалась ему так, как никогда еще, ни разу не смотрели и не улыбались ему красивые девушки. И никто не догонял их. И солнце светило.

Сверкающая гора окуней

Вышли, когда светало. Был мороз, от которого слипались ноздри, хотелось спать. Шагали по скрипучей тропинке посреди водохранилища, а кругом, куда ни глянешь, было только серо-голубое, и на берегу аккуратным строем стояли сосны. Потом взошло солнце, оно было низкое, большое и красное, и по снегу от него побежала розовая дорожка прямо к Володиным ногам.

Рыболовы остановились. Разворошили голубой снег, продолбили лунки и сели ловить. Но рыба не клевала, и Петр Сергеевич сказал, что надо искать другое место.

Они много ходили и много видели, но все в конце концов слилось в бесконечную ленту – Володя устал, – и, вспоминая потом об этом дне, он представлял себе что-то бело-голубое, яркое.

За весь день Володя так ничего и не поймал.

Однако вечером, когда вернулись в Дом рыбака, их ждало чудо.

В комнате было тихо, рыбаки столпились в тесный кружок, а в середине – Володя протиснулся и увидел, – в середине сверкала гора окуней. Они лежали в электрическом свете, зелено-желтые, в снежной пудре, с мутными, сонными глазами. Ясно, они попали сюда по недоразумению, чудом, и люди вокруг стояли, оцепенев, и молчали. Только один, в кожаной меховой куртке, тот, что сидел рядом с окунями, красный, улыбающийся, утирал пот со лба и смотрел на всех с видом победителя, с торжеством. Так вот они какие!

Некоторые еще шевелились, ворочались неуклюже, сбивая облепляющий их снег, стараясь вывернуться, уйти, плеснуть в холодную прозрачную глубину. Не понимали, что для них это – все, конец.

– Вот это да! – сказал кто-то.

И тогда заговорили все разом, перебивая друг друга, споря, махая руками, крича.

Володя стянул с головы шапку и стоял бледный, взъерошенный, а когда закричали, зашевелились, засмеялись громко, он, растерянный, слабый, озирался вокруг, не понимая, что происходит, совершенно подавленный происшедшим.

– У Дома отдыха МХАТа, – сказал кто-то. – Он поймал их у Дома отдыха МХАТа!

Так вот оно что!.. Фраза эта повторялась со всех сторон – вопросительно, восклицательно, удивленно: «У Дома отдыха МХАТа!...»

Наконец все успокоились и принялись ложиться спать – с тем чтобы встать завтра пораньше.

Володе снились непонятные, голубовато-синие сны.

Проснулись рано – еще было темно – и вышли в предраассветную мглу. Некоторые даже встали на лыжи и, отплевываясь и кашляя, зашуршали, заскрипели, затопали к далекому берегу. «У дома отдыха МХАТа!...»

Пришли наконец на место – Володя с Петром Сергеевичем одни из последних, – усталые, запыхавшиеся, и в груди у Володи пекло, как от быстрого бега. На берегу в лучах выплывающего уже солнца алел фасад двухэтажного дома с колоннами, с искрами-окнами: Дом отдыха МХАТа. Вдоль берега беспорядочной полоской рассыпались точки рыболовов – весь Дом рыбака. Молчали, дышали часто и громко, утирались платками, шарфами, шапками и долбили, торопясь, лунки, и из-под пешен сверкающими стеклянными фейерверками летели осколки льда.

Однако никто по-настоящему ничего не поймал. Никто не поймал ни одного окуня, который мог бы сравниться со вчерашними – теми, в избе.

Уже забегали, застучали пешнями вновь, кое-кто принялся завтракать. Уже слышались шутки и смех, отчаянно заколотили себя по бокам, чтобы согреться. Уже самые беспокойные ушли в поисках далеко – вдоль по берегу и на простор водохранилища, на глубину. Уже и Петр

Сергеевич отошел далеко от Володи и снова упорно долбил лед, злой, вспотевший. А Володя все сидел над своей лункой, надеясь, веря.

Однако напрасно...

Солнце, проделав мартовский путь, тонуло во мгле. Темнело. Все потянулись назад в сумерках. Шли и Володя с Петром Сергеевичем. Шли не спеша, переговариваясь, обсуждая планы на завтрашний день. Должны ведь они нащупать стаю, смог ведь тот наловить. Вот повезло человеку!

Конечно, конечно, им обязательно повезет, обязательно. Не сегодня – так завтра. Есть ведь еще день. Просто стая отошла на другое место – они найдут ее.

– Мы ведь наловим, да? Наловим? – повторял Володя, забегаая вперед и снизу заглядывая в лицо Петра Сергеевича. – Ведь правда? Ведь правда?...

И он опять жил завтрашним днем, словно не было сегодняшнего, не было неудачи.

Но едва Володя с Петром Сергеевичем обмели березовым веничком снег с валенок у порога, едва зашли в накуренную тусклость прихожей Дома рыбака, едва стянули с плеч тяжелую, пахнущую морозом одежду, как тотчас услышали разговор:

– Что? Наловил? Ха! Он купил ее. Купил! Там сети поднимали, вот он и купил. А утром сегодня в город поехал, продавать. Так что зря старались, хлопчики, зря спешили. Вот ловкач, ха-ха!

– Что? Что вы сказали?

– Что он сказал? Ведь это неправда? Неправда?!

– Ха-ха, не только ты, хлопчик, поверил! Мы-то вот дураки большие, нам-то уж надо бы...

И тогда что-то странное случилось с Володей.

Он кинулся вперед, оттолкнул кого-то и, распахнув дверь, ощутив мгновенно, как охватило его морозом, бросился в темень леса.

Не все сообразили сразу, кто-то выругался, Петр Сергеевич в этот момент отошел к печке и не видел. Вдруг кто-то понял:

– Что с мальчишкой?!

И заторопился к двери.

Володя бежал наугад – «он купил их! купил!» – чудом найдя дорогу, не видя ничего в наступившей уже темноте, слепой от обиды, от электрического света избы, от слез. «Все обманывают, все, все!...»

Сзади хлопнула дверь, луч света скользнул по сугробам, погас.

– Володя! Володя!

Володя сбился с дороги, барахтался в глубоком, выше колена, снегу, проваливаясь, с трудом выдергивая ноги, падая, хватаясь за снег руками, отводя от лица холодные, скользкие и колкие, пахнущие морозной хвоей ветви, сбиваясь с дыхания, – «все обманывают, все! зачем?» – споткнулся, упал окончательно, зарылся лицом в сыпучий, свежий, чистый и мягкий снег. «Не надо, не надо мне ничего, раз так. Не надо...»

– Володя! Володя!

Забегал, заметался луч карманного фонаря по снегу, по елям. Теперь слышалось уже несколько голосов, досадливо и часто хлопала дверь.

– Куда он побежал? Что случилось?

– Обидели мальчишку – вы что, не поняли?!

– Володя! Володя!

– Следы смотрите... Ищите следы!

– Чеканутый мальчишка, ей-бо, чеканутый...

Его нашли, отряхнули от снега, привели в избу.

– Разволновался, просто разволновался, бывает, – оправдываясь, говорил Петр Сергеевич. И улыбался неловко.

Володя успокоился вскоре, утих. И взрослые тотчас же позабыли об этом случае. Нервный мальчик, балованный, подумали некоторые. Только Петр Сергеевич курил папиросу за папиросой и, сидя рядом с засыпающим Володей, утешал его. Он утешал его так:

– Ведь это случайность, сынок, мы еще наловим, не сомневайся. Мы еще завтра... А в апреле – мы ведь поедем еще раз, да? – в апреле мы наловим еще больше, чем он, – будут длинные дни. Мы приедем специально. Мы с тобой всех обловим – посмотришь, не унывай. Не унывай, сынок, всяко бывает, чего там...

– Он обманул, обманул. Вы все обманываете, все, все... – машинально повторял Володя, засыпая, вздыхая прерывисто.

– Ну, я обещаю тебе, обещаю. Меня тоже обманывали, понимаешь? Думаешь, меня не обманывали? Что ты, сынок, что ты. То ли еще будет. Ты держись, сынок, надо держаться. Люди – они все же хорошие, не всегда ведь так-то.

– Странная реакция у мальчика, не правда ли? – сказал сосед Петра Сергеевича, стягивая валенок с ноги. – Это сын ваш?

– Что? Странная? Ничего себе странная. Это мы привыкли, пообтесались. Нам-то что, конечно. Нам – все равно. Неужели вы не понимаете? Не сын это, племянник мой.

Сосед Петра Сергеевича ничего не ответил. Он разделся, улегся на койку, вытянулся на спине, закурил сигарету.

– Послушайте, вы не спите? – спросил он через несколько минут.

Свет потушили, и во тьме алел огонек сигареты.

– Нет, – ответил Петр Сергеевич.

– Знаете, давайте завтра исправим? Вместе пойдем, а? Я тут одно местечко знаю. Я ведь и сегодня полчемодана наловил, хороших. Только не показывал. Поможем мальчику, верно?

А Володе снилась гора окуней. Во сне он забыл обиду и неудачный день и теперь опять сидел около лунки, глядя на свою нарядную – тоненьким прутиком – удочку, на розовый в лучах восходящего солнца фасад Дома отдыха МХАТа, с колоннами, с искрами-окнами. И ловил окуней. Они были большие, они ворочались у него в руках, толстые, неуклюжие, теплые почему-то. Володя смеялся от счастья, а рядом с его лункой на солнце сверкала гора окуней...

Наутро они опять встали рано и опять зашуршали, заскрипели, затопали к далекому мысу. Их было трое теперь. Как и вчера, все кругом было серо-синим, застывшим, все ждало, оцепенев, солнца, которое уже поднималось, медленно, нехотя просыпаясь.

Володя забыл вчерашнюю обиду – он жил своим светлым, радужным сном. Он знал теперь, что они ничего не поймут, и не жалел об этом.

И ему было очень легко идти. Он оглядывался по сторонам, вдыхая полной грудью морозный голубой воздух и замечая все. Сосны? Сосны на берегу похожи на фаланги стройных рыцарей в серо-зеленых латах. Восходящее солнце освещает их доспехи, и они стоят, выжидая. А впереди – огромная синяя равнина...

А сами рыбаки – разведчики, космонавты. Они прилетели на другую планету и шагают, разглядывая стройных зеленокудрых великанов, шагают по голубой, непривычной «земле», оставляя глубокие синие провалы следов. Что же все-таки произойдет здесь, когда поднимется высоко в небо вон тот странный багряный шар, от которого протянулись розовые длинные пики?

– Скорее, Володя, скорее, хватит оглядываться, – повторял Петр Сергеевич деловито, и они шли, они торопились.

Пришли наконец на место – на вчерашние счастливые лунки доброго рыболова. Володе уступили самую добычливую из вчерашних. Кругом не было других рыбаков – это место

не пользовалось популярностью, – а на близком берегу серебрились березы. Их много, они тоже необыкновенные, стройные и красивые, они тоже ждут чего-то. Может быть, они ждут турнира рыцарей? Из серебристых они постепенно становятся розовыми...

Володя размотал леску на своей удочке, насадил мотыля на крючок мормышки и кинул в прорубь. Как по волшебству, у него клюнуло тотчас. Петр Сергеевич много раз учил его, как подсекать, и теперь Володя без труда вытащил большого ленивого окуня. Ничуть не удивившись, как будто так и должно было быть, Володя отцепил его и бросил около лунки. И вытащил еще... Окуни были большие, казалось, что они даже крупнее, чем те, в избе.

Петр Сергеевич и добрый рыболов тоже всю таскали больших окуней. Стая, которую рыболов нащупал вчера, не только не ушла, но, по-видимому, даже увеличилась и проголодалась. Взрослые рыбаки суетились, их лица горели, они уже ничего не замечали вокруг, даже Володю. Около каждого росла гора окуней.

А солнце тем временем поднялось. Оно сверкало теперь нестерпимо – на него было больно смотреть. По широкой заснеженной равнине протянулись голубые и желтые полосы. Послышались легкие шелесты, шорохи. Что это?... Как странно: березы опять изменили свой цвет – они теперь желтые. Они неподвижны пока. Или это только так кажется?

Окуни... Они очень красивые, когда живые, – яркие, пестрые. И тусклые и печальные, когда застывают. Мутнеют глаза...

Клев был на славу. Петр Сергеевич и его новый знакомый наловили уже помногу. А Володя... Мормышка, сверкая, лежала на снегу рядом с лункой, а Володя осторожно – так, чтобы не заметили взрослые, – сталкивал пойманных окуней обратно. Полосатые сильные красноперые красавцы, постояв секунду в растерянности, благодарно уходили в темную глубину, а Володя с трудом удерживался от радостных возгласов. Что ему «гора окуней»? Все было теперь у него – только ли гора окуней?

День разгорался. Солнце поднималось все выше, а снег оседал потихоньку.

Если бы никогда не кончился этот волшебный день для Володи! Если бы так было всегда...

Девчонки

Утро. Мне – шестнадцать. Я иду на Москву-реку. Несколько дней назад я научился плавать и – радостный, бодрый от ощущения того, что умею еще что-то, – я иду купаться.

Солнце только-только взошло, и воздух чист и прохладен, как бывает лишь в самое раннее утро томительного жаркого летнего дня. Пересекаю шоссе, прохожу сквозь знаменитый Кунцевский парк с его вековыми деревьями и по крутому, с глинистыми обрывами, берегу спускаюсь к реке.

Недалеко от меня – две девчонки лет по четырнадцати. Они пришли, видимо, недавно: разделись и, тоненькие, стройные, нерешительно стоят у воды. Наконец, одна из них, в черном тугом купальнике, пробует пальцами ноги воду.

– Ой, как молоко! – говорит она.

И вот они уже, решившись, с визгом, с разбегу вспахивают реку, и брызги летят далеко, и несколько прохладных капель падает на меня.

А я все это время серьезно, сосредоточенно, делая вид, будто мне совершенно безразлично присутствие каких-то девчонок, раздеваюсь, поправляю плавки и мужественно, не дрогнув, вхожу в воду. Затем, вытянув перед собой руки, отталкиваюсь от дна и плыву на ту сторону – деловито, словно плаваю я давно.

Лишь на середине реки, когда и тот и другой берег непривычно и жутко далеки, а девчонок из-за волн я не вижу, – лишь в этот момент я чувствую стыдную неуверенность и думаю, что сейчас обязательно наглотаюсь воды или вот-вот сведет ногу... Но вот и берег близко – я пытаюсь встать на дно, но дна нет, тогда взбалтываю ногами еще несколько раз, и – вот она, победа!

Часто бьется сердце, но я счастлив – все-таки переплыл! – и оборачиваясь назад, я вижу две маленькие фигурки...

Но что это? Девчонки одеваются – значит, накупались и собираются домой, – и мне вдруг становится очень тоскливо, со страхом думаю, что надо ведь плыть обратно... Да, вот они оделись и, балансируя, карабкаются по обрыву.

– Эй, подождите! – хочется крикнуть им. – Посмотрите, как я поплыву назад! Видите, я научился плавать...

А они уже взобрались и потерялись среди вековых деревьев парка.

Я стою еще некоторое время – мне холодно, кожа покрывается зябкими пупырышками, – захожу в теплую воду, отталкиваюсь от дна. И мне по-настоящему страшно теперь: кажется, будто совсем не приближается берег, а я устал, и сейчас уж наверняка начнет сводить ногу...

Усталый, грустный, полный непонятной обиды, я вылезая на берег и медленно бреду домой. И словно бы никакой радости нет от того, что впервые в жизни я переплыл большую реку.

Первый тетерев

Нужны были победы. Обязательно! Хоть какие-нибудь...

Я учился в 9-м классе школы, был отличником, но никак не мог преодолеть своей робости перед девушками, хотя влюблен был в первую красавицу соседней школы. И она отвечала мне взаимностью, вот ведь что интересно! Однако я не решался не только поцеловать ее, но хотя бы сказать чуть-чуть о том, что чувствую по отношению к ней. И как-то, может быть, обнять... Как только я думал об этом, сердце начинало бешено колотиться, дыхание срывалось, и словно барьер выростал между ею и мною. И я ужасно мучился этим.

Но при том – да-да! – был отличником по всем предметам, старостой класса, и меня уважали ребята. А еще я увлекался поездками «на природу», рыбной ловлей на удочку, и даже охотой со старым отцовским ружьем... Что касается охоты, то и там никак не удавалось проявить свои мужские способности. Ружьишко было плохое – старенькая одностволка, – стрелять я толком не умел – никто не учил, а отца уже не было, он погиб, я жил с бабушкой и двоюродной сестрой... Но стать настоящим охотником мне очень хотелось!

А еще я вел дневник, куда записывал самое интересное – переживания, связанные с девочками, а также поездки на рыбную ловлю и на охоту. Как правило, я приглашал с собой кого-нибудь из одноклассников, чтоб веселее.

Вот что однажды я написал в дневнике:

«...На этот раз поехали втроем – со мною были Левка Чистоклецев и Эдик Пронин. Приехав в Рогачево, мы направились по знакомой дороге на север, дошли до Медвежьей Путьни и остановились у моей знакомой Марии Ивановны... Вечером первого же дня пошли на речку ловить рыбу. Места очень хорошие, но берет все-таки слабовато. Я поймал штук 5 окуньков, Левка – 4 окунька, густерку и пару пескарей. Эдька поймал 3 ёршика.

На другой день, это было 13-е августа, мы встали в 5 часов утра и опять отправились на рыбалку. Сидели до семи часов и почти ничего не поймали.

Искупившись, решили пойти на охоту. Пошли вдвоем с Эдиком, Левка решил опять на речку. Я все время твердил Эдьке об осторожности в обращении с ружьем, и он слушал внимательно.

Вышли на болото за 3-ей канавой. Было часов 10 утра. Мы прошли по очень хорошим местам за 3-ей канавой, по ягодникам, но... не вспугнули ни одного косача. Прошли еще с километр. Я нес ружье наготове со взведенным курком, потому что вокруг была чаща из небольших кривых березок, а под ногами мох и брусничник. Вдруг передо мной раздался характерный звук тетеревиного взлета – мощные, чуть ли не пушечные удары крыльев. Я вскинул ружье и повел стволом, но тетерева не увидел. И тут из-за кустика, который был шагах в 25 впереди и левее меня, поднялся второй косач, и я его увидел. Не взлетел он и на два метра, как сраженный моим выстрелом упал.

Когда я подбежал к нему, он лежал на ковре из ярко-зеленого мха и сухих листьев. Его прекрасный хвост лишь слегка дергался, из клюва обильно текла кровь, на перьях же – ни кровинки: доказательство резкости боя моего ружья. Сердце мое буйно заколотилось – победа! Но тут же оно засвербило от жалости... И все же так красив был этот мой первый косач! С гордостью я положил его в сумку и тут же вспомнил выражение С.Т.Аксакова из его «Рассказов о разных охотах»: «ремень начал приятно резать плечо»...

Большие в этот раз мы ничего не встретили, а Эдик так ни разу не выстрелил.

Интересно то, что в Путьни в этот сезон еще никто не убивал тетерева, даже охотники с собаками.

Итак, я сам поздравил себя «с полем»...».

Так я писал тогда – честно, как мог, пользуясь терминами из прочитанных книг, и, конечно, лишь в малой степени мог передать то, что чувствовал на самом деле. Однако читая теперь, вижу словно со стороны «того парня», который писал это.

А «Эдик» – это тот самый Эдик, который упорно и нахально ухлёстывал потом за моей любимой Аллой, пытаюсь «отбить» ее у меня, и, как я думал, почти уже отбил, по крайней мере хвастался тем, что встречался с ней пару раз. Однако она его, как мне стало известно, в конце концов «бортанула». Я, конечно, простил его, потому что не в нем было дело, а во мне. А вот зато на охоте и в поездках он полностью мне подчинился...

Но главное, очень хорошо – как сейчас! – помню тот знаменательный день 13 августа.

...Влажный, обволакивающий и приторный аромат багульника (голубику в тех местах называли «пьяникой», потому что растёт среди багульника, чей аромат пьянит), мягкий ковер мха под ногами, в котором резиновые сапоги тонут наполовину, редкие хилые березки вокруг, с зеленовато-бурой листвой, серое мутное небо над нами, ощущение затерянности в бесконечном пространстве, напряженное ожидание взлета больших черных птиц; всегда внезапное, взрывное появление их с оглушительным хлопаньем крыльев и ощущение дикого первобытного волнения... Ружье навскидку, сравнительно негромкий стук выстрела, толчок в плечо, кислый запах бездымного пороха и – как правило! – очередное разочарование от промаха, досада, стыдное расслабление...

Но в тот раз я ощутил ошеломляющую радость победы, клокочущие крики вырвались из моего судорожно сжимающегося горла (кажется: «Дошел! Дошел!» – так писали в охотничьих книгах...) – я не написал этого в дневнике, но помню, помню! Слезы восторга и благодарности готовы были брызнуть из глаз; задыхаясь, я бросился к упавшему черно-белому красавцу, который лежал на мху, чуть-чуть вздрагивая, вывернув белоснежное подхвостье, а кровь, льющаяся из клюва, горела так же, как рубиновые брови... И тотчас ощущение торжества действительно сменилось чувством раскаяния, жалости, хотя и не уходила радость победы...

И что-то общее – да-да, чувство очень похожее, понимаю теперь! – на то, что испытывал я когда-то в отрочестве с девочкой, которая была по условиям нашей военной игры, «врагом», и я должен был ее «обезвредить», мы, борясь, упали оба на мягкую землю, и девочка подомной вдруг обмякла, и глаза ее стали какими-то странными, совсем не «вражескими»...

И еще на то похожее было чувство – понимаю теперь... – что испытывал потом – много позже! – с любимой женщиной – когда стонет она то ли в беспомощности, то ли в восторге, и прижимает к себе, и мечется ее голова на подушке, и закрыты или, наоборот, широко и дико раскрыты глаза, странно смотрящие на меня или просто перед собой, а стоны – мучительные и радостные одновременно, торжествующие и беспомощные, – ласкают слух и будоражат душу. И жалость и нежность к ней соединяются с клокочущим в горле жестоким рычанием, и рвется из груди произвольно первобытная – победная! – песнь! Привет от далеких предков, куда уж тут денешься...

А тогда... Тогда это был первый в моей жизни «добытый» тетерев.

И это была – так нужная мне победа. Пусть не в том, что было столь важным и становилось все важнее и важнее. Но все-таки...

И понял я со временем вот еще что. Охота, убийства, изобретение оружия разных видов, желание непременно превзойти всех, всех победить и «порвать» – не следствия ли того, что мы не в состоянии преодолеть свою личную убогую несостоятельность в главном: **В ТОМ, ЧТОБЫ НАС ЛЮБИЛИ?** И чтобы мы могли соответственно – радостно и умело – **ОТВЕЧАТЬ** на любовь любовью...

Хотя я и добыл тогда, 13-го августа, свой первый достойный охотничий трофей, но так и не смог спасти свою первую любовь, не смог преодолеть свой страх, свою неумелость и внушенные мне «взрослыми» запреты. Алла ушла к другому. К тому, кто смог.

А я учился. И поэтому кое-что смог потом.

Запах берез

Был июнь. Меня всегда будоражат июньские длинные дни, а когда они проходят, становится грустно. Наступает душный июль, затем август со своими прохладными звездными ночами, дождливый сентябрь... а там и зима... На следующий год все повторяется, и – опять ожидание весны, волнение, «охота к перемене мест», июньские долгие дни и робкие ночи... Надежды, фантазии... И чувство чего-то несбывшегося.

Мне было двадцать, я работал на установке декораций в оперном театре. Воскресенья и праздники для нас всегда были самыми напряженными днями: шло по два спектакля. Бывало, выгородишь вечером сцену и смотришь в зал сквозь специальное окошко в занавесе на людей, ожидающих, праздных. А когда начиналось действие, я садился где-нибудь в углу за кулисами, слушал музыку и певцов, потом выходил из театра и шагал по Театральному проезду. Шумный и праздничный, он пестрел людьми, огнями...

Отдыхали мы в понедельник. Хотя он и не был для нас «тяжелым днем», но почему-то, как правило, в наш выходной с утра портилась погода.

Но в тот памятный мне июнь погода изо дня в день стояла великолепная...

В одно из воскресений вечером я по старой, школьной привычке решил провести свой выходной день на рыбалке. Принес с чердака заброшенную рыбацкую сумку, удочки, и около часа ночи вышел из дома.

У метро стихало воскресное оживление. Люди расходились, разъезжались по домам, прощались – все еще праздничные, нарядные в ярком электрическом свете. А я – одетый в поношенную штормовку, с потертой сумкой и с удочками – был уже не от мира сего.

В пустых по-ночному вагонах метро дремали одинокие пассажиры, устало светили лампы, медленно набирал ход, мчался машинально и, не спеша, останавливался сонный поезд.

Среди полутемных платформ вокзала я нашел свою электричку, сел в вагон. У горизонта уже начинало светлеть. Когда вагон дернулся и привычно застучали колеса, я прислонился к стенке и задремал.

Что было потом?

...Я шел по длинной пустой дороге. По обеим сторонам ее стояли дома, серые, равнодушные и тоже пустые. Уже рассвело. Руки мои в неуверенном, робком свете были чуть фиолетовыми и холодными – так всегда бывает в ранние утра.

Дома скоро кончились, начались поля, овраги, кустарник. Я казался себе маленьким и одиноким, я ощущал беспредельность земли: все эти пригорки и овраги, поля и леса, болота и реки на обширной поверхности, уходящей за горизонт.

Надо мной бесшумно, неотвратимо свершалось непереносимое: менялись краски, розовело небо, и я ощущал, я чувствовал, как огромная наша планета медленно поворачивается, подставляя остывший за ночь бок солнцу.

Не чувствуя ног, я летел, как на крыльях, и воздух переполнял легкие. В кустарнике у дороги шелкали соловьи.

Потом был ослепительный день. Искрящаяся рябь на воде, убаюкивающее покачивание, непрерывный плеск волн о лодку, словно кто-то легонько постукивает о ее дно, солнце, солнце и душистая тень прибрежного леса. Отчего так пахнет в гуще берез? Я нюхал ветки, растирал листья между ладонями. Откуда этот цветочный запах, когда вокруг нет цветов?

Я плыл по большому водохранилищу с его бесчисленными притоками, бухтами, островками; приближался к берегу там, где над тихой водой свисали ветви деревьев, пробовал ловить рыбу, хотя клева не было. Я наломал веток лиственницы с прошлогодними сухими шишками и поставил их в бадейку для рыбы, затем добавил еще веток березы... Лодка моя была моим домом, крошечным плавучим островком – пусть не скорлупкой, затерянной в волнах океана,

но все же бесконечно одинокой среди заливов, проливов и плесов. Я пристал к острову, ходил по нему, как Робинзон, но остров оказался слишком малым, к тому же он был наполовину затоплен, и несколько деревьев, растущих на нем, стояли в воде. Возле стволов плескалась, выпрыгивая из воды, рыба мелочь. Я опять сел в лодку, поплыл...

У одного из берегов обнаружил маленькую уютную бухту. Вылез на берег, разделся совсем и теперь ходил в зарослях, как первобытный человек, оглядываясь, правда, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Здесь росла лиственница, большие кусты рябины, необыкновенно крупно цветущий боярышник, мощные, раскидистые акации, не было привычной осины, ели, сосны. Сказочные, волшебные куши... Птицы кричали наперебой, а у меня кружилась голова. Я чувствовал себя пьяным от теплоты, от воздуха, пахучего и густого, я не ощущал своего тела – я растворился в окружающем...

Потом купался, сойдя по острым камням в теплую, ласковую воду залива. Плыть было необыкновенно легко. Я переворачивался на спину, закрыв глаза и лицом ощущая прикосновения солнца, нырял в зелено-желтую тусклую глубину, а оказавшись на поверхности, вновь радостно отдавался слепящему свету и находил глазами уютную бухту и лодку в тени акаций. Счастье, настоящее счастье...

Когда надоело плавать, медленно вышел на берег. Крупные капли воды, словно драгоценности, сверкали на моей груди и плечах. Я несколько раз глубоко вздохнул, и захотелось двигаться, бегать, казалось, необыкновенная сила переполнила тело, еще немного – и тогда уже, точно, можно будет взлететь... Да, странно, конечно, выглядел я со стороны – городской человек, полностью обнаженный, охмелевший от обыкновенного воздуха, света.

Но вот к моему берегу пристала лодка. Женщина осталась сидеть на корме, а мужчина вышел на берег и вежливо спросил у меня, где находится устье реки Катыш. Он был худ и бледен, этот молодой мужчина в трусах, а я... О, я уже считал себя диким человеком! Я объяснил ему, но, вероятно, не мог скрыть легкого своего презрения, потому что он как-то странно смотрел на меня, потом быстро прыгнул в лодку, и они с женщиной поспешно отплыли. А я опять остался один, один среди природы, маленькая, переполненная благодарностью ее частичка...

Были еще купания, странствия по своим владениям, отдых в пятнистой тени дерева. Потом я вдруг почему-то решил, что пора ехать домой. Легко и быстро работал веслами, пружинисто сгибаясь и разгибаясь, и лодка моя летела. Удалилась бухта, тень акаций, долго была видна еще большая береза на берегу, потом все сравнялось в темно-зеленую полосу, и стало грустно. Захотелось вернуться. Я развернул лодку, она закачалась часто и беспокойно, заплескались волны, солнце теперь стало бить в лицо, я взмахнул веслами несколько раз... Нет, не надо! Пусть останется все как было, пора действительно ехать домой.

И опять полетела моя лодка, я обгонял других рыбаков, а выходя на берег у рыболовной станции, старался сделать вид, что в сумке у меня кое-что есть. Единственную плотвицу, пойманную утром на хлеб, я давно уже выбросил в воду.

В трех километрах начинался маршрут автобуса, который ходил до железнодорожной станции. Я свернул с дороги, чтобы продлить немного свой путь, но, опьяненный ароматом берез, незаметно удалился в сторону, отчего, когда вернулся на шоссе, оказалось, что до остановки автобуса остается все еще около трех километров.

Теперь опять шел быстро, но уже по пыльной, горячей дороге, и проезжающие машины обдавали песком и гарью. Успел на автобус, который вот-вот собирался отойти, автобус тронулся, загромыхал, пыль полетела во все щели так, что вокруг сделалось тускло, и стало ясно: волшебство рассеялось, теперь опять будет город.

А ночью поднялась температура. Кожа на всем теле горела так, что невозможно было лежать. Жар усиливался, голова была словно чужая, я терял сознание, бредил. Какие-то видения мелькали перед глазами... Солнечный удар. Расплата.

Но все прошло.

Отчего, отчего так пахнет в гуще берез? Откуда этот цветочный запах, если вокруг нет цветов?

Тот давний июньский день был одним из счастливейших дней моей жизни.

Зимняя сказка

Тикают ходики. На них – половина второго. Ночь. Андрей Гаврилыч уже встал, поблескивает очками, одевается. Керосиновая лампа освещает угол печки, деревянный стол, табуретку. Все кажется желтым. На столе шумит самовар. Хозяйка приготовила его еще с вечера, а теперь встала, кряхтя, раньше всех и разожгла угли. Проснулась кошка и, мяукнув, стукнула об пол всеми четырьмя лапами – спрыгнула с печки. Надо кинуть ей кусочек колбасы.

Андрей Гаврилыч снова опередил меня: выпил чай и уже собирает свой чемоданчик. С нами пойдет хозяин, старик с большой рыжей бородой.

Пальто очень тяжелое – сразу становится жарко. Загремела задвижка. Хозяйка провожает нас с лампой. Пискнула дверь, пахнуло морозным воздухом.

– Эка, вывездило как! – глухо доносится голос старика-хозяина.

Валенки сухо скрипят по снегу. У нас с Гаврилычем специальные рыболовные чемоданчики на полозьях. Дед ничего не берет с собой – на чем же он будет сидеть около лунки? Мороз щиплет ноздри, сковывает щеки. В избе еще горит огонек. Сейчас хозяйка погасит лампу и ляжет спать.

А мы вступили в огромный холодный мир. Щедро светит луна. Наши голоса звучат тихо, но разносятся далеко, и тишина от этого кажется еще более полной и немного пугающей. Все голубое, и чудится, что все вокруг околдовано лунным светом, что избы, луна, деревья и даже заиндевшие провода замерли не просто так: они разыгрывают таинственное представление. Темные дома деревни – даже окон не разглядишь – загадочно насторожились. Ни ветерка, ни звука.

Первым шагает дед. За ним торопится Гаврилыч. Его чемоданчик катится мягко, иногда сползает в сторону. Я последний. Дорога блестит призрачным светом, повизгивает слежавшийся снег. Декорации двух цветов – черного и голубоватого...

Мы идем уже очень давно. Луна ушла дальше, скрылась за лесом – у нее там, наверное, другие дела. Но оказывается теперь, что и без луны можно различить спину Гаврилыча, деда с палкой, дорожку. Откуда-то сочится неуверенный свет: робко вырисовываются осинки, мохнатые лапы елей, хрупкие кружева кустарника. Откуда он, этот свет? Может быть, снег начинает светиться?... Становится еще светлее, бледнеет небо – и все теперь просто и ясно.

Справа над верхушками елей начинает краснеть, словно зарево. Или кто-то зажег огромный костер?... Опять – как в сказке: сейчас придет волшебник... В прозрачно-зеленой глубине одна за другой тонут звезды. Снег зеленоватый и тени на нем зеленые. Выплыли из-за леса багряные облачка, выстроились, словно придворные, для встречи Волшебника... Чиркнуло поверху, и загорелись, засверкали заснеженные макушки деревьев. Тотчас ворохнулась какая-то птица на ветке, заверещала радостно. С ветки посыпался снег...

Лес неожиданно кончился. Перед нами, чуть внизу, большое белое поле, ровное и нестерпимо яркое на солнце. Водохранилище. Тысячи, миллионы снежинок – и каждая сверкает отдельно от других, отражает блеск солнца, переливается в его лучах. Множество радуг. Мы спускаемся и идем по нетронутому снегу. На том берегу за четкой строчкой кустов толпятся деревенские избушки. Крайняя изба стоит у самого берега. Блестит заснеженная крыша, из трубы вьется дымок. Он поднимается вверх сизым султаном – примета, что день будет хорошим. А дальше, за деревней, туманная линия леса. Вот он, волшебник – Солнце. Пришел и расколдовал...

Почти у самого берега дед останавливается.

– Начне-о-ом, пожа-алуй, – нараспев говорит Гаврилыч.

– Начне-о-ом! – тянем мы хором.

Становится весело. Гаврилыч плюет на руки и первым начинает долбить лед. Я долблю шагах в двадцати от него. Скоро в лунку с шумом вливается вода. Я достаю удочку, усаживаюсь на чемоданчике, насаживаю на крючок мормышки рубинового мотыля.

Я знаю: предстоит день морозный и яркий. Предстоит день полный чудес.

Чудеса начинаются сразу. Первое чудо – лунка. Ее зеленоватое пятно многозначительно темнеет среди ледяных осколков. Это – окно в неведомый мир. Мне представляется, как там, в тусклой оливковой глубине, среди причудливых зарослей подводных растений, плавают рыбы. Полосатые окуни с красными плавниками, серебряные плотицы, щуки – я видел их во сне. Да-да, я вспоминаю, как именно прошлой ночью в избе видел огромных глазастых рыб, которые с жадностью набрасывались на мою мормышку, дергали во все стороны, мешали друг другу...

На конце гибкого можжевелевого удилица поблескивает серый хоботок пружинки. Из хоботка выбегает леска и скрывается в воде. В глубине – мормышка. Все это – от мормышки до моего плеча – представляет собой чуткий механизм: стоит рыбе коснуться наживки – пружинка качнется, и рука мгновенно сделает подсечку. Однако поклевки почему-то нет.

Я смотрю вокруг. Все так ярко, что больно смотреть. Слева от меня, сгорбившись, сидит Гаврилыч. Он неподвижен: вероятно, тоже нет клева. Дед стоит сзади, шагах в двадцати, и сосредоточенно «блеснит». Кусочек бороды его освещен солнцем и горит так, что мне кажется: деду жжет подбородок.

Вдруг рука моя ощущает слабый толчок. Механизм срабатывает, и я чувствую, как натянулась леска... Подпрыгивает сердце, останавливается и, лишь когда я вытаскиваю маленького окунишку, начинает снова биться. Он невзрачный, полосатый – граммов на двадцать – однако это «почин». Я отцепляю его от мормышки, небрежно бросаю рядом с лункой. Этот бойкий подводный житель, который теперь весь извалялся в жемчужном снегу, – второе чудо.

Но больше ни поклевки. Я тупо смотрю на пружинку, подергиваю удочкой, чтобы раздражить воображаемых рыб, но это не дает результатов. И чудеса начинают блекнуть. Лунка – никакое не окно, это просто отверстие во льду, причем вода мутная, а на голом и мертвом дне подо мной, вероятно, много вязкого ила. И вообще-то рыб очень мало в этом водоеме, а те, которые все-таки есть, плавают неизвестно где – попробуй, отыщи их. Солнце – да, но в конце концов от него уже начинают болеть глаза. И зачем столько света? К тому же спать хочется.

Вспоминаю, что надо поесть, открываю чемоданчик, достаю булку с маслом, сахар, щурясь от солнца, ем. Света столько, что невозможно смотреть. Голубое, розоватое, белое... Ослепительное. И радость вдруг просто переполняет меня – остановись, мгновенье!...

Хозяин-дед убежал куда-то вместе со своей бородой... Андрей Гаврилыч встает, долбит другую лунку, ближе к берегу. Продолбил, сел...

Я встаю тоже, прыгаю по снегу, чтобы отогрелись ноги и свысока смотрю на свою «добычу» – ее и разглядеть-то трудно в снегу, – жую всухомятку булку и мечтаю теперь о лете, когда не нужно будет надевать эту тяжелую шубу и прыгать, чтобы согреться. От этой мысли становится еще радостней – впереди лето, впереди аромат листвы, песни птиц, поплавки на воде, теплый ветер! Смотрю на Гаврилыча...

Познакомились с ним не так давно, в электричке. Впервые с приятелем отправлялись на подледную рыбалку – слышали, начитались... – но проспали и не успели дома толком собраться. Расположились на гладком желтом сиденье электрички, старательно привязывали мормышки к лескам и не обратили внимания на пожилого щуплого мужичка с пешней и чемоданчиком – он сидел тихо напротив. Мормышки мы привязывали, как оказалось, неправильно – жалом крючка вниз, и рыбацкое сердце нашего соседа напротив не выдержало...

Мне двадцать пять, работаю на заводе, токарь. Мои станки – это механический мир, и частенько мне кажется, что и станки, и вообще всякие железные механизмы – отчасти

живые... У каждого свой характер, капризы, причуды... Хорошо работает любой механизм лишь тогда, когда ты обращаешься с ним по-человечески, с уважением, с любовью... Вообще мой завод – это мой мир, и сейчас, глядя на Гаврилыча, сидящего терпеливо над лункой, я думаю, что у него совсем другой мир – он реставратор, художник. Мы с приятелем были у него в мастерской, она в старой церкви: густой сад, окружающий церковь, ограждает ее от городского суетливого мира. Я был у него и дома: живет он один, его комната – тоже особый мир, с удочками, фотографиями, потрепанными географическими картами, картинами, канарейкой в клетке, рыбками в аквариуме, двумя кошками и собакой...

Я прямо-таки влюблен в Гаврилыча. По голубой и скрипучей ночной – волшебной! – дорожке он привел меня в этот чудесный сверкающий мир, чтобы отмыть, очистить – как он отмывает, осветляет потемневшие от времени картины... Я влюблен в него, и несмотря на то, что ну абсолютно нет клева, я смотрю на него с благодарностью...

Но вдруг вижу: что-то странное творится с волшебником-реставратором. Он суетится на своем чемоданчике, взмахивает нелепо руками, и вообще маленькая скрюченная фигурка его выражает азарт, энергию, чуть ли не боевой задор. В чем дело?

Наконец сердце мое подпрыгивает – я догадываюсь! – немедленно бросаю на снег недо-еденную булку, хватаю пешню, удочку, бегу, неуклюже вскидывая ноги, чтобы не упасть, все-таки падаю, теряю и нахожу удочку, опять бегу, задыхаясь... Наконец – «на втором дыхании» – прорублена лунка, голыми красными руками лихорадочно вычерпаны шуршащие, скользкие ледяные осколки (оставил на старой лунке черпак!) ... Вот оно! Я не успеваю даже насадить мотыля – скрюченные пальцы не слушаются – и ловлю на высосанные лохмотья: таскаю одного за другим ленивых, толстых окуней, зеленых, с черными поперечными полосами... Окуни разевают рты, ловят воздух, шуршат, ворочаясь на снегу, а грудные алые плавники их светятся, горят на солнце, словно тайные сокровища подводного царства...

И теперь мне снова ясно, что подо мной в глубине – золотое песчаное дно, а в прозрачной воде среди изумрудных зарослей плавают большие красивые рыбы. Множество разных рыб... Солнце просвечивает сквозь заснеженный лед, и в золотом свете его – все как в сказке...

Однако чудеса недолговечны. После одной из поклевов я погорячился, потянул резче, чем следует, натяжение лески вдруг ослабло, и я понял, что это – обрыв. Пока бегал к чемоданчику, оставленному около старой лунки, оочевевшими пальцами привязывал новую мормышку, неловко насаживал мотыля, стая окуней, очевидно, ушла с этого места. Напрасно я, затаив дыхание, ждал, пытался всячески раздражить рыбу новой мормышкой. Поклевов не было.

У Андрея Гаврилыча тоже кончился клев, мы пробрили еще несколько лунок, пытаюсь нащупать стаю, однако все бесполезно. Солнце поднялось высоко и уже припекало спину. От валенок поднимался пар.

Я сижу на своем чемоданчике и смотрю в небо. Плывут облака, медленно, легко. Я хотел бы полетать в небе.

Андрей Гаврилыч тоже смотрит на облака. Он пожилой человек, много видевший, и мне очень хотелось бы узнать, о чем он думает, глядя в небо? Что видит там? Хочется ли ему полетать?

Я приеду сюда летом. Со мной, думаю, будет Она. Найду, конечно же, встречу... Ночью мы разожжем костер. Потом увидим восход солнца. Вместе. Утром уплывем на лодке в туман... Это еще одно чудо. Она будет чудом...

Хозяин-дед собирается домой. Он ничего не поймал – бегал где-то, пока мы с Гаврилычем орудовали со стаей, – и смеется вместе со своей бородой. Мы остаемся. Я легко отдаю ему свою рыбу. Мы надеемся, что будет клевать вечером.

Но вечером не клюет.

Солнце садится. Небо теперь голубое с золотым отливом. Тихо. Лишь из деревни на берегу доносятся знакомые звуки – голоса людей, лай собак, монотонное тарыхтение трактора. Время от времени вдруг раздаётся сильный глухой треск: бухнет, прокатится до леса на берегу и замрет. Потом опять... Лед оседает.

Клева нет. Я знаю, что надо бы поискать в другом месте, продолбить новую лунку. Но мне не хочется. Гаврилыч уже далеко. Его маленькая фигурка неумоимо носится по снежной плоской поверхности. Вот он остановился, разбросал снег. Машет пешней... До меня доносятся слабые удары: тук-тук... И вдруг опять бу-у-хх! Дрогнула вода в лунке.

Как далек сейчас город с его огнями, суетой, шумом. Как далек мой завод... Тишина, покой. Здорово!

Мы ночуем в избушке на берегу. Хозяйка – голубоглазая женщина средних лет, темно-волосая, крепкая. Она вдова, без мужа вырастила двоих: сын работает в вечернюю смену – мотористом на теплостанции, – дочь школьница ушла в соседнюю деревню смотреть кино. Имя хозяйки самое обыкновенное – Мария Ивановна. Она поит нас парным молоком, ставит на стол чугунок с дымящейся картошкой, соленые огурцы.

Мы в крошечной избушке, затерянной в огромном заснеженном мире. Сказка продолжается. Завтра нам предстоит еще день.

Я засыпаю быстро. Ночью мне ничего не снится.

И наступает завтра...

Яркие пятна солнца

Пляж на реке. Смущение, чувство такое, будто он только что впервые увидел ее. Впервые в купальнике. Лодка, закат, горящие от солнца окна дома на берегу. Сумерки, тишина, когда заплыли далеко вверх по реке. Сели рядом за весла, прикасаясь плечами, но откуда-то появился милиционер на катере и прокричал в мегафон, что сидеть рядом запрещено, потому что может опрокинуться лодка...

Она пересела напротив, и он теперь видел ее всю. Ее задумчивое лицо, ее голые руки, плечи, ее колени...

Прохладный летний вечер, когда и в городе хорошо, проблески света в ее темном подъезде, ее тихий голос, улыбка, веселые блестящие глаза, потрясающе нежные губы, ослепительно белые зубы, душистые, шелковистые волосы... Мама сверху звала ее несколько раз, он оттягивал момент прощального поцелуя. Но так и не решился поцеловать.

И весь другой день мучился, корил себя, злился. Позвонил. А вечером, когда они встретились наконец, пригласил ее к себе, в комнату общежития. Привел...

...Несколько дней назад, в субботу, ходил по набережной один. Опять один и один. И вдруг солнце, опускаясь за мостом, облило красным ступени и парапет, а на реке мелкие волны засверкали багровым и золотым. Этот огненный свет мучительно и непонятно взбудоражил его. Мимо проходили по-летнему одетые люди, девушки улыбались, смеялись, а он с трудом удерживался, чтобы не смотреть вслед каждой. Проезжали автобусы, троллейбусы, он провожал их глазами и видел лица в окнах, и каждый нежный профиль заставлял его трепетать и волноваться, и, стискивая зубы, он отгонял от себя стыдные мысли. По набережной зашел далеко и, возвращаясь, сел в автобус. На одной из остановок в автобус вошла девушка в коротком платье, оживленная, стройная. Пройдя вперед, она взялась за поручень и наклонилась, заглядывая в окно. Платье обрисовало ее фигуру, а он мучительно покраснел и отвел глаза.

В воскресенье пошел на концерт в Консерваторию, опять один и один, слушая музыку, чуть не плакал, и жизнь представлялась чуть ли не конченной. Было детство и юность, а вот теперь ему девятнадцать, и как будто бы что-то остановилось. Что-то постоянно мешает и делает все вокруг мучительно непонятным, сложным. Не радуется ничего. Наверное, он другой, не такой, как все...

Он обожал математику, свой строгий, поэтический, логичный мир, цифры и формулы казались воплощением чистой гармонии, жизнь до некоторых пор тоже представлялась понятной, стройной, логичной, но вот препятствие появилось, пугающее непостижимостью, властностью своей, напоминающее о себе наяву и во сне, неотступно. Как же преодолеть его?

Вокруг волновался, дышал – жил! – огромный, переполненный людьми город, люди встречались друг с другом, смеялись, грустили, целовались, и все у них, казалось ему, было просто, естественно, а он вот застыл на месте, отбился, и одиночество его нелепо, противостоительно, странно. Неуклюжий провинциал из глухого заштатного города, оказавшийся, вот студентом Университета на Ленинских горах, в столице. Математик. Чужой.

А говорили ребята, что очень просто на самом деле это.

Познакомились с ней совершенно случайно, в библиотеке, он сам даже не понял, как. Она дала телефон. Долго не решался, наконец, позвонил. Встретились, катались на лодке, на другой день опять позвонил, опять встретились, он предложил пойти к нему в общежитие Университета, и она почему-то согласилась сразу.

...Они вошли, и в ее присутствии привычная комната внезапно стала чужой, даже как будто враждебной. Лампа, оказывается, слишком яркая, обстановка убогая, все, все вокруг как-то не так.

Первой жертвой его неумелости стал приемник. Он так старался поймать какую-нибудь *подходящую* музыку, что все, что ловил, казалось плохим. Он крутил и крутил ручку настройки сначала в одну сторону, потом в другую, чуть не сломал. С непонятной, пугающей улыбкой она сидела на единственном стуле около стандартного столика, накрытого старой газетой. Сидела и смотрела в темень окна. Странно смотрела.

На очереди были журналы. Он достал кипу старых журналов из тумбочки и, сказав, что лучше смотреть их, сидя на кровати, усадил ее рядом с собой. Теперь он ощущал ее близость, тепло, исходящее от тела, тонкий аромат то ли крема, то ли духов. В горле пересохло, руки его стали холодными, потными и неприятно дрожали.

«Ну... Ну же! Скорей давай, действуй же!» – уговаривал он сам себя, бессмысленно глядя в журнал у нее на коленях, чувствуя гулкую пустоту в голове. – А то ведь скоро уйдет».

Колени ее, выглядывающие из-под журнала, были округлые, очень красивые. Пахло не только духами, но и еще чем-то детским, как будто бы молоком. Наконец, он решился, левой рукой неуклюже обнял ее за плечи и тотчас, оправдываясь, хрипло пробормотал что-то. Она не шевельнулась, не отодвинулась, только чуть напряглась. Рука его безобразно дрожала. Он не знал, как нужно обнимать ее, с какой силой, казалось, рука вот-вот упадет, соскользнет со спины. Пальцами он чувствовал шершавую материю ее платья, ее волосы щекотали его щеку, один волосок попал в глаз. Он терпел героически, пока глаз не заслезился. Пришлось отстраниться и отчаянно потереть глаз...

Журналы кончились.

– Проводи меня домой, – сказала она вдруг, выпрямляясь.

Рука его тотчас упала с ее плеча, и неожиданно для самого себя он проговорил грубо, хрипло:

– Останься.

И испугался тотчас.

Она встала, не говоря ни слова, подошла к двери. Он как-то отчаянно бросился за ней, схватил за плечи, стал бормотать что-то невразумительное – чтобы подождала еще, ну, минуточку хотя бы, ну, чуть-чуть, они сейчас пойдут, конечно, только посидят самую малость, немного совсем, ну минут пять хотя бы, ладно?

И сам себя ненавидел...

– Ну чего ты встала ни с того ни с сего? – проговорил наконец внятно, спокойно.

Она молча вернулась, села.

Он опять судорожно схватил приемник, поймал джаз. Затем приоткрыл дверцу шкафчика и нарочно долго искал бутылку, которую специально приготовил вчера. Он искал ее со словами:

– Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь есть... Не осталось ли что-нибудь? Ага, вот и бутылка...

Она пить отказалась. Он уговаривал. Обижался, сердился, говорил, что она и ему не дает возможности выпить, потому что один он пить не может: нехорошо одному, неприлично. Что он, алкоголик какой-нибудь, что ли? Устал от уговоров и разозлился вдруг, с ненавистью и к себе и к ней, замолчал.

Наконец, она чуть пригубила свою рюмку – «Чисто символически, раз ты так настаиваешь», – он выпил свою, налил себе еще с досадой и опять выпил. Коньяк был дешевый, противный, от него неприятно пахло – клопами! – и было такое ощущение, что выпитые рюмки остановились в самом верху желудка, у горла. Зачем, зачем это все? – думал мучительно, ненавидя себя, ее, все на свете.

Потом вспотел внезапно, чуть-чуть опьянел, снял пиджак и – головой в омут! – начал убеждать, чтобы она его поцеловала. Она его, а не он ее. И с ужасом подумал, что теперь-то уж точно все, теперь она уйдет немедленно и навсегда. Она несколько раз действительно поры-

валась уйти, но он не пускал, держал за плечи, уговаривал, ходил за ней по пятам, до дрожи презирая себя, и, наконец, взглянув на часы, вздохнул свободнее: десять минут второго.

– Вот, на метро ты все равно опоздала, а на такси денег нет. Придется ждать до утра.

И усмехнулся злорадно.

Она все-таки хотела идти, говорила, что пойдет пешком, мама ведь будет ругаться, мама ей не простит, она ведь никогда ни у кого не оставалась на ночь... А он, осмелев, уже обнимал ее неловко, неумело целовал наугад – в щеку, в нос, в подбородок, наконец в губы. Они у нее были тверды и сухи, крепко сжаты, она вырывалась, потом начала хныкать, как маленькая. Он сказал:

– Завтра я пойду с тобой и поговорю с твоей мамой, хочешь? Скажем, что провожали в армию моего товарища, сбор у них рано утром, потому и... Хорошо?

Она вдруг успокоилась и сказала:

– Ладно, я останусь. Будь что будет. Только ты мне постели на полу.

Он вмиг отрезвел, погасил свет. Она села на кровать и закрыла руками лицо. Дрожащими пальцами он принялся расстегивать пуговицы ее платья. В темноте все изменилось вдруг.

– Пусти, я сама, – сказала она.

Встала, стянула через голову платье с жестким шорохом, он помог ей снять туфли, чулки. Снятые чулки тотчас стали неприятно холодными и сделали попытку выскользнуть из его рук, как змейки. Расстегнул лифчик, не сразу поняв, как надо – освобожденные груди ее качнулись... На ней остались одни трусики. Она села.

Вздрагивая, стыдясь, волнуясь, отводя глаза от ее белеющей кожи, как-то непроизвольно медля, он неловко снимал с себя и складывал на стуле свою одежду.

Она неподвижно сидела, закрыв лицо руками, волосы рассыпались и прикрыли ее. «Как на картине «Святая Инесса», – подумал он автоматически, совершенно не представляя, что делать дальше...

Путаясь в ее волосах, он зачем-то бережно приподнял ее, теплую, неподвижную, и положил поверх одеяла, к стенке. Вытащил с трудом из-под нее одеяло, накрыл ее, потом отогнул одеяло, лег рядом и словно в каком-то отчаянье принялся мять ее тугие и ошеломляюще гладкие, беззащитные, нежные, груди. Она молчала, только дышала часто, закрыв глаза, и казалось ему, что от ненависти к нему, от беспомощности своей она дышит так. Он страдал, он был противен себе до отвращения, он ненавидел себя, но не знал, что делать дальше, как быть, время остановилось. Положение казалось безвыходным.

...А за окном во мраке спал огромный, переполненный людьми город, и жизнь вершилась своим чередом, и по законам статистики каждую минуту рождалось и умирало в городе несколько человек. Рождалось больше...

Долго, упорно, с какой-то тупой, жестокой настойчивостью он пытался раздеть ее совсем, до конца – снять трусики. Чуть не порвал резинку, и все же стянул их с места, а она вдруг вытянула ноги и чуть приподнялась, чтобы ему удобно было снять их совсем. Одеяло сбилось на сторону, упало на пол, и в ночном призрачном свете он вдруг увидел ее всю – Женщину. Она лежала на спине, закрыв глаза, беспомощно раскинув руки, и, казалось, спала. Потрясенный увиденным, он накрыл ее одеялом и встал зачем-то.

Все в комнате было ускользящим, нереальным, все вокруг покачивалось, как в непонятном сне.

– Принеси мне попить, – вдруг попросила она и, откинув одеяло, села на кровати, уткнув в голые колени лицо.

И вновь все изменилось вокруг. Внезапно он почувствовал себя сильным, очень сильным, добрым. Она просит пить, милая, хорошая такая, она хочет пить, господи!

С радостью пошел за водой. Голова кружилась. Принес воду, протянул ей стакан и, стоя рядом, все больше умиляясь, смотрел, как она пьет. Она глотала громко, вздыхала, переводила дух – милая, маленькая, совсем ребенок.

Попив, она поставила стакан на пол, приподнялась и прижалась к нему, уткнувшись лицом ему в грудь. Осторожно, бережно он поцеловал ее волосы, мягко отстранил, уложил спокойно, лег рядом сам, тихий и добрый. Она вдруг прикинула к нему всем телом, горячая, потянулась мягкими, влажными губами, тяжело и часто дыша. Он нежно целовал эти губы, дрожа, прижимая к себе осторожно, заботливо, словно защищая от чего-то, переполненный невыразимым счастьем. Все закружилось вдруг в бешеном вихре, быстрее, быстрее, навалилось, сдавило грудь... Судорога сотрясла все его тело, непроизвольный стон вырвался из груди... И в неистовом биении сердца он почувствовал возвращение в мир.

Оглушенный, растерянный, слабый в полном недоумении он отодвинулся от нее. Несчастный, жалкий, растерявший внезапно могучую силу, и чувствующий ужасный стыд. Не хотелось даже открывать глаза – было ощущение неловкости, неудобства, растерянности, нечистоты внизу. И – несправедливости. Почему все так глупо и быстро, зачем...

Обман, насмешка природы. О, господи, стыдно, стыдно. Внизу мокро и липко, и никуда не денешься, срам. Она теперь будет смеяться над ним! Никогда, никогда больше она не будет его уважать, жизнь окончена, разбита, проиграна, и ничего уже не поделаешь. Математика одна остается, наука и ничего больше. Несчастный, неспособный заморыш. Слабак.

Она лежала рядом, молчаливая, неподвижная. Наверняка презирающая его. Совсем чужая.

Наконец, он забылся. В отчаянье, горечи и печали. Одинокий, как никогда. Уснул.

Позже, потом, в таинственных недрах ночи снился ему навязчивый сон. Он как будто бы продолжал говорить что-то ей, говорил без конца, оправдывался, извинялся, настойчиво убеждал, объяснял, чуть ли не плакал даже. А она странно, мягко и ласково улыбалась, слушала, непонятно смотрела, и пугающим сначала было это ее спокойствие, а потом... Сон это был или... Была власть легких рук и взволнованный тихий шепот, головокружительный аромат дыхания, и что-то обволакивало его, влекло, и непонятно все опять было, страшно неизведанностью своею, и сердце замерло, как перед прыжком, и дышать нечем, и плакать хотелось. Но звучала, звучала уже таинственная, необычайная музыка, и было, как никогда, приятно, и чувствовал он себя сильным, могучим, и ясно было, что смерти нет, и ничего не было страшно, все, правильно, все хорошо. И вот сейчас, сейчас свершается необычайно важное, может быть, самое важное в жизни, свершилось, да! И восторг и нежность, и стоны ее, и радость победная...

А потом наступил покой.

Под утро, сквозь тихое, мирное забытие, он слышал осторожные шаги, шорохи. Потом щелчок дверного замка. Он хотел проснуться, но почему-то не мог, все длилось и длилось ощущение прекрасной бесконечной мелодии, тело его было легким, невесомым, летящим...

Первое, что он увидел, открыв глаза, – яркие пятна солнца. Рядом не было никого. Недоумение, обида, мгновенный вопрос. Где она? Почему? Во сне это все было, или...

Но звучала, звучала мелодия, и почему-то ясно стало: свершилось. Свершилось, на самом деле свершилось! Ее нет, она ушла, но все, все, что было – не сон. Она не ушла, она растворилась в этом солнце, в этой удивительной теплоте, которая переполняла и его, и всю комнату.

На столике лежал обрывок бумаги, на нем слова: «Мне на работу рано, извини. Целую крепко. Звони». И – номер телефона, который он знал.

Выпутался из простыней, подошел к окну. Сияющее, свежее, голубовато-розоватое небо казалось перламутровым, теплым. Ослепительный, раскаленный, слегка мерцающий диск солнца всплывал над горизонтом с торжественностью. В его лучах грелись крыши домов, дере-

вья, далекая, изогнувшаяся в повороте река, подернутая серебристой рябью. Черные точки стрижей уже мелькали в бездонной утренней высоте.

Ощущение молодости, силы, предстоящей долгой жизни переполнило его. И весь необычный сверкающий мир расплылся перед глазами... Он плакал от радости, огромности того, что произошло. Одиночество куда-то исчезло, появилось чувство благодарности, непостижимого, таинственного родства...

Листья

Летний солнечный день. Загородное шоссе: горячий сухой асфальт с россыпями щебня по обочинам – от него хрустит под ногами, – редкие автомашины, что с шумом деловито проносятся мимо нас, навстречу и обгоняя, маленькие дачные домики по обеим сторонам шоссе, глубокая яма справа, плавные подъемы и спуски, овраг с ручейком и мостиком впереди.

Нас трое: Рита, Светлана – «Светик», Славкина подруга, – и я. У Риты ярко-красная юбка, белая блузка и туфли на высоком каблуке. Они подворачиваются, когда кусочки щебня попадают под ноги, и Рита морщится, смеется, я вижу, что она устала, и мне хочется нести ее на руках.

Мы приходим на недостроенную Славкину дачу – Славка встречает нас, с ним его брат Алик, – начинаются обычные, долгие и нескладные хлопоты дачников-горожан: ходим за водой, разжигаем примус, зачем-то ставим кипятить чайник, который так и не понадобился. Спускаемся в овраг к ручью, чтобы умыться, возвращаемся, налаживаем магнитофон. Мы садимся за стол пятеро – «пятый лишний» Алик, Славкин брат, – пьем вино из чашек и стаканов, потому что рюмок нет, подшучиваем друг над другом, смеемся.

Потом мы шумно собираемся гулять по оврагу – овраг большой и глубокий, он весь порос густыми, труднопроходимыми зарослями осины, ольхи, орешника и большими деревьями – сосной, березой, – в пяти шагах там ничего не видно. Первыми уходят Славка со Светиком, затем куда-то таинственно скрывается Алик, а Рита почему-то остается, садится на кровать и говорит, что у нее кружится голова, но «это сейчас пройдет», и тогда она найдет нас.

Она не смотрит на меня, отворачивается, закрыв руками лицо. Почему это, а? Может быть, она на меня обиделась? За что?! Но я сажусь рядом и участливо спрашиваю, что с ней такое. Она не отвечает, я сижу с глупым видом, не зная, что делать. Потом, наконец, она молча встает, и мы идем.

Мы идем по тропинке, которая вьется по склону среди бугров и берез. Рита ведет себя опять непонятно, а когда я показываю ей кривую березу, один из стволов которой, седой и толстый, повис горизонтально над склоном, – она смеется странно и говорит, что у нее в туфель попал камешек. Она спускается к ручью, пока я чинно сижу у кривой березы. Наконец, я слышу, как она зовет меня от ручья, но почему-то не двигаюсь – зачем она от меня убежала? – и вот уже ее не слышно, а когда, продравшись сквозь заросли, я подхожу-таки к ручью, ее там уже нет. Теперь я кричу, но она не отзывается – скрылась куда-то...

У меня немного болит горло – недавно болел, – и чуть-чуть кружится голова, потому что давно не был за городом; день жаркий, солнце россыпью ложится на листья кустов – это напоминает мне что-то, сказку из сна, – и вот я уже отрешенно бегу по берегу ручья, продираюсь сквозь кусты напролом, пригибаюсь, где нужно, прыгаю через склоненные ветви – и листья шумно и хлестко бьют меня по лицу, мне уже трудно, больно дышать, и передо мной то вспыхивает солнце на ветках, то веет угрюмой сыростью из-под густоты кустов, и в ярко-зеленые пятнистые полосы сливается множество хлещущих и щекочущих, жестких и мягких, остро пахнущих, зовущих, пьянящих листьев.

Я бегу долго – и тайна ручья раскрывается мне. Я вижу, как кончаются густые заросли по его берегам – он течет уже по равнине. На другом берегу – большие засеянные поля, на этом, моем, берегу – длинное здание фермы, домик, где живет, вероятно сторож, и стадо коров. Я нашел себе какую-то палку и теперь иду, словно странник в незнакомой стране, опираясь на посох, смотрю по сторонам, вижу небо и солнце и жду чего-то. И хотя я все еще перевожу дух от бега и от неприятной обиды – куда она скрылась-то? – в груди печет, в горле тоже, но я – счастлив. Смело прохожу сквозь коровье стадо и с сознанием собственной значимости, бывалости постукиваю палкой по дороге.

Навстречу идут люди. Кто они, откуда? Они проходят мимо, но я слышу их разговор и догадываюсь: торопятся на электричку. «Какая здесь станция поблизости?» – буднично спрашиваю вдогонку. Они отвечают, и я понимаю, что пробежал совсем немного – меньше одной остановки поезда... Всего-то... И вновь ныряю в зеленые заросли, в листья, бегу назад по ручью... И опять все забыто, и я, кажется, пою что-то – песни, которые вспоминаются сами собой. Летят мимо меня листья зеленой пятнистой полосой, они хлещут и гладят меня по лицу, и словно опять зовут, зовут...

Но в глаза мне сверкает красным. Рита! Она сидит в своей красной юбке на пенюшке у края оврага и спокойно, с улыбкой смотрит на меня сверху.

Останавливаюсь нехотя, взбираюсь по крутому склону, цепляясь за корни, и сажусь недалеко от нее, на траву. «А я думала, уж не медведь ли. Такой треск стоял...» – говорит Рита и смотрит с улыбкой. «Как видишь, не медведь», – отвечаю хмуро. Мы сидим некоторое время молча. Потом поднимаемся и вместе идем на дачу. У тропинки нам встречается маленький шалаш, крытый еловыми ветками. Я останавливаюсь, заглядываю в шалаш, пробую его прочность. «Какая прелесть, – говорит Рита. – Правда?» – «Хороший шалаш», – соглашаюсь угрюмо, и мы идем дальше.

Мы приходим на дачу – Славка со Светиком уже здесь, к Алику тоже приехала его подруга, Соня, – и мы все теперь играем в волейбол на поляне. У Сони каштановые густые волосы, большой красный гребень и голубые глаза, гребень постоянно падает в траву, волосы рассыпаются и мешают ей играть, она поднимает гребень, опять пристраивает его в волосах. Она раздумялась от игры и от солнца, и, поправляя прическу, она улыбается смущенно, словно ей неловко, что у нее такие густые красивые волосы. Рита хорошо играет в волейбол – она спортсменка, – мяч мягко и послушно отлетает от ее рук, но она не смотрит на меня почему-то, играет серьезно, сосредоточенно, закусив губу. Что, я опять чем-то обидел ее?

Вечером мы едем в электричке – народу много, вагоны набиты битком, Рита и я стоим в тамбуре. В тамбуре полутемно, тускло горит одна небольшая лампа, вагон мягко покачивается, постукивают колеса, в дверь с выбитым стеклом веет прохладный ветер – и проносятся мимо домики с освещенными окнами, еле видные в сумерках поля и деревья. Деревья, кусты... Мы молчим, и глаза у Риты блестят, она смотрит на меня долго и странно, она ждет от меня чего-то. Придвигаюсь к ней ближе, чувствую, что ей холодно, мне становится жалко ее, – она кладет голову мне на грудь и всхлипывает, вздрагивает от чего-то. От чего?

От вокзала провожаю ее домой. Мы едем в метро, потом пересекаем людную площадь, идем по темному переулку с деревьями – под ногами распластались красивые черные тени, а по краям переулочка яркие фонари просвечивают сквозь нежно-зеленые неподвижные кружева – листья деревьев...

Мы долго и молча стоим у ее подъезда. Я говорю «до свиданья», поворачиваюсь, иду. «Не уходи», – говорит она тихо. Я останавливаюсь послушно, возвращаюсь, легко обнимаю ее, целую наконец вздрагивающие губы. И ухожу тотчас. Ведь именно уходя я почему-то чувствую себя суровым и сильным...

Ночью во сне я опять вижу ярко-зеленые пятнистые полосы листьев. Они летят мимо меня и трогают и гладят мое лицо, нежно и ласково, бережно...

Выбор

Лекция в институте была неимоверно скучна – доцент Налдеев... – с трудом отси-дел-отмучился, а после в коридоре встретил приятеля, разговорились, и – опоздал на деловое свидание с Б.П. – решил не ехать, условиться потом еще раз, придумать причину, по наитию внезапно позвонил Наташе и пригласил в музей на выставку Рериха, на полшестого и в ожидании – осталось полчаса лишних – прилег отдохнуть. Проснулся через двадцать минут не в духе, с левой ноги, с легкой головной болью, но вовремя сообразил поразмяться, торопился с гантелями, потом – чуть ли не бегом по скользким заснеженным улицам, пришел к месту вовремя, на минуту даже раньше.

Прождал Наташу двадцать минут, замерз, расстроился и без десяти шесть вошел в музей. Уже был раз на этой выставке, и теперь надо было бы пройти легко и быстро, без лишнего напряжения, остановиться лишь у любимых картин и, не задерживаясь, если не придет она – ведь догадается войти, если опоздала! – быстренько вернуться домой и сесть за работу. Нужно срочно сочинять курсовую. Но почему-то словно по обязанности начал ходить аккуратно по залам, тупо смотреть, пытаясь скрыть все растущее раздражение – на себя, на Наташу – за умным, серьезным видом – что, однако, не помешало в первые же минуты заметить девушку в голубом свитере и короткой юбке, в туфлях с низким каблуком и теплых колготках, симпатичную именно своей внимательностью и осмысленностью – каштановые волосы, серые глаза с желтоватыми ободками вокруг зрачков, – и заметить именно в тот момент, когда она говорила подруге, что ей очень нравится, стоя перед любимой моей картиной «Сергий-строитель». И потом как-то не выпускал ее из поля зрения – ничего не стоило подойти, будь нормально настроен. И вначале решил было подойти, но ждал еще Наташу, был почти уверен, что она войдет, и – колебался.

Народу было много: нудные, убогие экскурсоводы (о какой-то из картин одна во всеуслышание говорила так: «синтез морально-этических качеств»), неискренне внимающие им трудящиеся, а еще у одной из любимых картин, «Мухаммед на горе Хира», застал омерзительную милующуюся парочку: он маленький, сытый и сальный, красный, потный, она – с выпученными глазами и большим носом, тоже сексуально взбодренная. «Что им Гекуба? Что они Гекубе?!» Они стояли, обнявшись, он сюсюкал ей что-то, наклонившись так, словно уши у нее не на обычном месте, а где-то где губы, и под шумок даже чмокнул раза два, я видел. «Нет, в 47-м году написаны «Партизаны»! – игриво говорил он. – «Нет, в 45-м!» – кокетничала она. Это были их единственные слова о Рерихе, и «Партизанами» там, конечно, не пахло. Мучительно захотелось оттолкнуть их от картины, оскорбить, чего, разумеется, не сделал – к великому сожалению! – а потому с еще большей ненавистью к себе смотрел теперь по сторонам, еще более независимо и высокомерно держался, стараясь не замечать, игнорировать нахлынувшего в этот вечер на выставку обывателя. А Наташи все не было видно, а девушка была ничего себе и все милее казалась...

Время шло между тем. Наташа не появлялась. Вернулся к картине «Сергий-строитель» – она правда нравится мне, очень нравится! – сел на лавочку рядом, долго смотрел. Голубые снега, синие тени, мороз, одиночество, глушь. Сергей в кацавейке тешет топором лежащее дерево, слева, неподалеку – его жалкая халупка, рядом сидит медведь и смотрит спокойно. А вдалеке – все снега, мощные, и покой – но покой не умиротворенный, не идиллический – покой глуши, задавленности, дремучий, стихийный. Вот она, Россия. Ведь и в снегу все, в глухом лесу, только справа, вдалеке – речка, но и она утонула в снегах... Сергей сосредоточен в труде – он строит. А что теперь? Дремучих лесов почти не осталось, речки отравлены, медведей фактически нет, да и снег-то... серый от кислотных дождей. В чем беда, почему заблудились, что происходит с нами?...

И вдруг в стекле картины увидел ее. Отражение. Не Наташино, нет. Той девушки. Она ходила сначала вдвоем с подругой, потом троим – с парнем еще, – а теперь в своем голубеньком свитере стояла рядом, за моей спиной, и тоже смотрела на картину. Одна. Стояла у меня за спиной и смотрела. И никого рядом с ней. Боже, ведь я просто чувствовал ее присутствие, ощущал спиной. Обернулся как бы так, невзначай, несколько раз – не на нее, нет, а якобы на другие картины. А она стояла. Господи. Ведь никогда больше, если не сейчас, если не сию вот минуту – ведь большой же город, толчея, никогда, никогда, а ведь может быть это – ОНА. Вдруг... Вполне может быть! Ведь не случайно же, вот – смотрит... С Наташей все равно как-то странно – опять не пришла... Сердце прыгало, дыхание начало перехватывать, и двух слов теперь не мог бы связать. «*Так трюсами нас делает раздумье...*» От нерешительности, от незнания, что же сейчас предпринять, от волнения цепенея, повернулся опять к картине... И в стекле увидел, что она уходит. Уходя, обернулась, глянула уже не на картину, а на меня... Да! Именно! О, какое же я ничтожество, боже...

Встал, как приговоренный, направился туда же, за ней, она подошла к своим друзьям, я прошел мимо... Они направились в другие залы, смотрели, я проходил мимо несколько раз... И ведь с независимым, равнодушным видом, даже высокомерным. Просто убиваемый трусостью!

Потом вместе смотрели книгу отзывов – подошел, когда они, опять троим, смотрели, пристроился рядом. Молча. С таким независимым видом опять. Но начались уже звонки – выставка закрывалась. В раздевалке тоже оказались почти совсем вместе, неподалеку, но в моей секции была меньше очередь, оделся раньше, вышел, злясь на себя уже просто безмерно, ненавидя себя, презирая – как-то мазохистски злясь! – изошренно, ругая себя последними словами, издеваясь над собой, обзываясь... Шел все-таки медленно, дошел до угла Садового, думая о билетах в кино, что лежали в кармане – только что вспомнил! – хотел ведь с Наташей после выставки... И осенило: пригласить! Сейчас пригласить ее, ту, в голубом свитере... Ее! Ах, какая причина! Да и другое можно – Манеж, например, тоже выставка. А начать так: что вам понравилось? И – о картине, о «Сергии»: «Вам она тоже понравилась, да?» Кретин, ничтожество, мерзавец последний, раньше надо было – тогда, когда стояла! Ведь ничего не стоило ровным счетом... Ах, какой же я, какое ничтожество, какое... какое...

На углу остановился в ступоре, раздумывая, звонить ли – не Наташе, нет, у нее телефон только на работе, – звонить ли Юле, что ли, раз такое дело, или... или... А сам поглядывал на идущих оттуда. Они не шли, их не было – ее не было! – автоматически как-то достал билеты в руке зачем-то, напоказ, пошел обратно, к музею: подойду, приглашу в кино в наглуую! Черт с ним! Рискну! Или... Нет, подойду и предложу как бы между прочим билеты купить – пропадают, мол, может быть, возьмете?... А потом вдруг узнаю ее. И тогда уж... Была не была!

Встретил – они, они трое! – а она, к тому же еще и хорошо одета: лисья шапка, меховой воротник пальто – растерялся даже... Хотя какая разница?! И... прошел мимо. О, господи. Остановился у музея, посмотрел им вслед, зачем-то заглянул в музейный двор – будто ищу кого-то (зачем? зачем? ну и кретин же, Господи...), – быстро пошел назад. Когда подходил к углу, увидел их идущими по другой стороне – налево, к метро... Вспомнил, что мельком слышал в раздевалке, как она сетовала о предстоящей толкучке в метро, мигом сообразил, решился (на что? на что?), перешел на ту сторону Садового, не упуская из виду их, троих – все в светлом по сравнению с толпой. К метро пойдут по подземному переходу, там и встречу, а что потом? Спрошу двухкопеечную монету! Позвонить! И «узнаю» вдруг ее... Да, узнаю внезапно! «Мы ведь вместе были на выставке, я вас помню, ну, как вам, понравилось?» Потом приглашу в кино... Правда, парень этот... Вот ведь наваждение, вот ведь попробуй, справишься с собой! Как же быть-то, что правильно, как поступить?...

Правильно рассчитал, поймал их у перехода, заранее встал в позу спрашивающего «лишний билетик», достал из кармана мелочь. Вот они поднимаются по ступенькам – парень с ними, самодовольная глупая рожа. И – как молния:

– У вас двухкопеечной монеты не найдется? – мой хриплый лепет.

Впопыхах так и не понял, что он ответил и ответил ли вообще – парень шел с этого края, – а когда опомнился, увидел их спины – три спины, три пушистых шапки, – они удалялись в метро, а я стоял с протянутой рукой...

Финиш.

– Девушка, у вас не найдется монетки позвонить? – спросил по инерции уже у другой – реабилитируясь! – спокойно, обычно (хотя какая уж тут реабилитация, к черту!), и она тут же остановилась, достала из кармана, улыбнулась даже, раскрыла ладонь: две двушки, копейка, а у меня как раз пятак. Спасибо!

С глупым довольным видом направился в телефонную будку, опустил монету, снял трубку, услышал гудок... И тут только остановился.

Дошло-доехало. Самый настоящий дурдом. Клиника. Шизо. Уфф.

Но и тут по инерции поколебался и решил все-таки поехать к кинотеатру, продать билеты, решительно направился в метро, миновал их. Да-да, опять их! Они ведь шли не спеша, нормально, а я метался как странный спутник, сумасшедшая комета какая-то – шиз-комета! – миновал их с тупо-решительным видом, не глядя – злясь опять! – направился будто бы к кольцевой, потом внезапно остановился, поколебался и, решив, что к кинотеатру ехать удобнее через радиальную, вернулся. Они-то шли к радиальной, я заметил! Еще раз миновал их – они стояли у разменной кассы, – теперь уже и на самом деле решительно спустился по эскалатору, доехал до Арбатской, но решил наказать себя: не продавать билеты и не идти в кино – к черту, пусть пропадают! – а вернуться домой, сесть за курсовую – ведь нет времени! Вспомнил... – вышел на Арбатской, посидел на лавочке у замерзших фонтанов зачем-то, решительно встал, направился по эскалатору вниз, доехал до Курской, перешел на кольцевую линию, приехал на родную Таганскую, вышел из метро – и тут только перестал мучительно оглядываться по сторонам.

По дороге домой зашел в магазин, маленький магазинчик на родной улице, уютный. Там было пусто, светло, продавец – женщина, черная, лет сорока пяти, серьезная. Деньги, к счастью, с собой.

– Бычки в томате, сахарный песок, «Фетяска»...

– «Фетяски» нет, кончилась. Возьмите «Пино». Это в том же духе.

– Сухое?

– Да, как «Фетяска», даже лучше. Чуть подороже.

– Даже лучше? Это хорошо.

– Возьмите, попробуйте, вам понравится.

– Да? Ну, что же, давайте. Спасибо. Спасибо.

Из магазина вышел почти совсем нормальным – все-таки разговор с живым человеком, разрядка, – а подходя к дому, думал уже, что напрасно все это, черт знает что, сразу надо было ехать домой и работать над курсовой. Вот дурачок...

Но не напрасно.

Наташа, оказывается, опоздала как раз на 20 минут и ждала больше получаса – все то время, пока я был на выставке, – нервничала, мерзла. Не дождавшись, ушла, расстроилась очень, обиделась, уверенная, что я не пришел – на выставку зайти не догадалась. Может быть, потому я так и метался – ее состояние передалось...

Вскоре после этого мы стали часто встречаться, и по нервозности, по постоянной «заведенности», непонятности, неразрешимости, вздернутости ни в предшествующей, ни в последующей жизни моей не было ничего равного отношениям с ней. Мучительной этой любви.

А та девушка с серыми глазами – спокойная, внимательная, мягкая, наверное, нежная и рассудительная, возможно симпатизировавшая мне – я же чувствовал, потому и метался! – не знак ли мне это был? Не спасительная ли соломинка – последняя возможность устоять, протянутая рука помощи – перед тем, как закрутиться мне в бездне карих, дьявольски прекрасных и непостижимых Наташиных глаз? В омуте таинственного, тревожного, непредсказуемого...

Хотя и с мучительными колебаниями, с отчаянной и беспомощной борьбой, неосознанным даже сопротивлением, странными, шизофреническими метаниями, что-то во мне выбрало – омут.

Тамара в красном

– С классной женщиной я познакомился недавно, – сказал мой приятель, один из друзей далекого детства, Валерий. – Тамара ее зовут. А у нее подруга есть, тоже классная, молоденькая, симпатичная. Хочешь, познакомлю? Она на вид даже лучше Тамарки – для фотографии тебе в самый раз. Думаю, она согласится. Хочешь, к ней в гости поедem? Мы с Тамарой будем, а ты с ней. С Тамаркой у нас, правда, по большому счету пока что не было ничего, но я очень надеюсь. Поедем?

Обычный дом новой застройки, недалеко от центра Москвы. Обычная однокомнатная типовая квартирка. Хозяйка и на самом деле вполне симпатичная, можно даже сказать красивая. Темной, восточной масти, действительно стройная и эффектная, лет двадцати. Тамара старше, ей что-нибудь двадцать семь. Густые светлые волосы, собранные в этакую башню, приятное лицо. Красное то ли платье, то ли костюм, не помню. И фигуру Тамары я не запомнил – разве что отметил автоматически, что для фотографии подойдет вряд ли. Да и потом не для меня ведь это – приятель усиленно ее «обрабатывает».

Выпили немного. Музыка включили, даже потанцевали чуть-чуть. И вдруг я почувствовал, что возникло что-то между мной и Тамарой. Может, быть – как на корриде – красный цвет подействовал? И не только он, а и эта золотистая башня, завитки у висков? Как когда-то у первой моей школьной любви – красное платье и завитки...

Приятель с Тамарой танцевал постоянно, мне лишь один раз досталось, но... Почувствовал я: что-то происходит между мной и ею, и ничего не поделаешь... Всеми силами я, тем не менее, старался помочь приятелю – нельзя же бесстыдно хватать чужое! Дисциплинированно танцевал с эффектной приятной хозяйкой, а потом, когда решили сделать перерыв и в кресла уселись – с подругами на коленях, – я старательно обнимал эту вполне послушную милую девушку – гладил, как и положено, и пару раз, кажется, даже поцеловал слегка.

А приятель на кресле напротив то же самое пытался делать с Тамарой. Но у него не очень-то получалось... То есть, не вперяясь, естественно взглядом, но так, искоса, я засек: ни разу даже поцеловать себя она ему не позволила.

Так мы посидели чуть-чуть и вдруг:

– Ну, хватит, ну, давайте же поменяемся, – сказала внезапно Тамара.

И тотчас встала с колен моего приятеля, с усилием даже выпуталась из его цепких объятий.

И подошла к нам.

Ничего не осталось и моей даме, как послушно встать.

И вот Тамара опускается на мои колени...

Произошло непонятное. Только что на моих коленях было великолепное, стройное женское тело, даже более стройное, более эффектное и молодое, чем у Тамары. Только что я механически обнимал его и думал, честно говоря: скорее бы это кончилось. И вдруг... Словно огонь полыхнул в нас с Тамарой мгновенно. Словно выключатель-тумблер повернул кто-то, и лампы прямо-таки ослепительно засветились.

Каждая клеточка ее существа, кажется, излучала сладость и стремилась ко мне – точно так же, как и все мои клеточки. Мы с Тамарой поплыли в едином, совместном блаженстве... Лишь на какой-то миг вспыхнуло во мне чувство вины перед приятелем – он ведь так стремился «обработать» ее, поделился со мной, предупредил. А я, козел этакий...

Но я тут не при чем, вот ведь какое дело! Как ему объяснить?

Меня неудержимо тянуло целовать, ласкать это лицо, руки, грудь, – все, все ее драгоценное, и – совершенно родное тело! Расслабленная, абсолютно покорная и готовая, кажется,

на все, она тянулась ко мне и словно обтекала своей плотью, своей сладостью, мы сливались губами... И ничего важнее нашей внезапной близости теперь не существовало.

Да, сколько уж у меня к тому времени было всякого, а такое вот, внезапное и совершенно неосознанное – в первый раз.

Расстроенный приятель немного понаблюдал за нами с печалью – надо отдать ему должное, он вроде бы даже и не обиделся на меня, – и вскоре ушел.

Очевидно мы с Тamarой со стороны выглядели как малые дети, потому что и хозяйка без обид и претензий оставила нас на всю ночь и даже уступила свою тахту целиком – сама благородно ушла спать на кухню.

Ну и было у нас ясно что. То есть абсолютное просто слияние, один горячий слиток, сгусток, клубок, одно блаженное облако. То есть мы просто никак насытиться не могли, и утро как-то неожиданно наступило...

– Откуда эти африканские страсти? Вы же мне всю ночь спать не давали, – недоуменно сказала утром хозяйка.

Но что интересно: без всякого раздражения она это сказала, с искренним удивлением и даже как бы с сочувствием.

Им с Тamarой надо было идти на работу вместе. Они начали приводить себя в порядок – причесываться, краситься. А я вскоре ушел.

Я, конечно, оставил Тамаре свой телефон – она своего не давала, сказав, что так будет лучше. И обещала звонить.

Я не шел по утренней улице – я плавно и мягко летел, хотя ночь мы ведь почти не спали. Тело мое было легким, воздушным, усталости не было абсолютно! И что еще интересно: на встречах девушек я смотрел с особой симпатией. Они все мне нравились! Ко всем я испытывал нежность... И словно в каждой из них была частичка Тamarы...

Разумеется, я ждал ее звонка, еще как ждал. Но вот чудо: не расстраивался от того, что она не звонит. Мой приятель сказал, что вообще-то она замужем. За капитаном дальнего плавания. Он был в отъезде, когда мы встретились, а теперь как будто приехал. Потому, наверное, она и не звонит.

Я и это воспринял совершенно спокойно. Печаль моя, как говорится, была светла. Благодарность – вот, пожалуй, главное чувство.

Так мы с Тamarой больше никогда и не виделись. И я абсолютно не помню ее лица. Но вот того, что было тогда, разумеется, никогда не забуду.

Особенно меня удивляет начало. Ну ведь такое же тело, такая же женская плоть, как у милой хозяйки, хозяйка моложе и, кажется, даже красивее... А разница просто космическая.

Вот она, Тайна-то где! Вечная загадка...

Поликсена

Она сидела на листьях растения, похожего на малину, смело распахнув великолепные крылья, на светло-кремовом фоне которых с удивительным изяществом были нанесены тонкие темные линии и голубые и красные пятна. Оптимистический, гениальный в своей простоте рисунок... Неужели она, Поликсена?!

Был вечер, но в тучах появился просвет, и я вышел ненадолго из домика, в котором меня поселили. Выглянуло солнце, наконец, оживив эти горные заросли. Вдыхая аромат испарений, я поднимался по крутой каменистой дороге, потом свернул на узенькую мокрую тропинку, не ожидая в общем-то ничего, смирившийся уже с пресной реальностью, потому что дождь лил двое суток, не переставая, и тут...

Забываем, забываем, как богат земной, уныло упрекаемый нами мир! Как много непредвиденного и чудесного скрывается в нем до поры до времени, чтобы разом вдруг удивить, напомнить...

Да, бабочка существовала передо мной, и это было – напоминание. Затаив дыхание, я приближался к ней и, увидев в видоискателе фотоаппарата ее, ставший наконец резким и четким облик, нажал на спуск затвора. Потом чуть отстранился, передохнул, осторожно перевел пленку... Солнце тотчас скрылось, задернулось тучами, новые армады их все шли и шли с востока. Но было еще сравнительно светло, и я рассчитывал сделать еще несколько снимков, тем более, что бабочка не улетала.

Она вдруг зашевелилась и сложила крылышки домиком. С испода крылья ее были тоже очень красивы, невероятно красивы сейчас, в серой мути, которая опять начала обволакивать суший мир. Да, она была отблеском солнца, частицей, представительницей солнца здесь, на земле, когда само великодержавное Святило скрывалось. И она имела с ним непосредственную, не подлежащую сомнению связь, это ясно, и если бы не она, то, глядя вокруг, трудно было бы поверить, что солнце вообще существует, настолько все подернулось серой мутью. Но была, была бабочка – существовала!

Лишь три снимка успел сделать я сбоку, запечатлев ее – на пленке и в памяти, – а тучи с несолидной для их могущества торопливостью словно спешили загладить досадную свою оплошность, уничтожить все, все до одного отблески, притушить, закрыть, запретить, чтобы ничто, значит, не напоминало! Но поздно. Я успел. И уже не страшно было зловещее урчание грома. Ах, с какой радостью возвращался я в домик, бережно придерживая фотоаппарат.

Снял ее все-таки, снял! И к тому же – каюсь – взял ее с собой все-таки, хотя вообще-то я их не ловлю. Но тут ведь для того, чтобы определить поточнее – вдруг это все же не Поликсена? Увы, придавил ей грудку и взял, хотя если бы было солнце и удалось нафотографировать побольше, ловить ее я все же не стал бы.

Внимательно разглядывая ее, в который раз поражался я: почему? Почему и зачем столько красоты на крыльях бабочек? К тому времени уже немало лет занимался фотографированием мелких природных существ крупным планом, но все не переставал удивляться. Каким образом вообще создана столь великолепная, столь совершенная природа на нашей планете и для чего брошены мы, люди, в этот гармоничный, цветущий, прекрасно обходящийся без нас мир? Нам дана способность воспринимать его бесконечную красоту, верно, однако многие ли из нас пользуются этой возможностью? Мы мечемся в мелких заботах и страхах, бежим куда-то, не глядя вокруг, строим крошечные, ничтожные личные мирки, не поднимая головы, не различая даже того, что у нас под ногами и рядом. И хорохоримся, хорохоримся, тратя способности на всякую ерунду. И единственное, чему действительно научились – уничтожать. А между тем – вот же она, Красота! Иной раз прямо у нас под ногами...

Вокруг была Грузия. Я прибыл сюда неделю назад в качестве корреспондента одной из центральных советских газет. То есть я был «специальным корреспондентом» – писателем, посланным от газеты, – а заданием моим было, разумеется, не фотографирование бабочек. Заданием моим было знакомство и описание многолетних семей здешнего района со всеми вытекающими из их полезной для государства многодетности проблемами. И мы с ответственным секретарем здешней районной газеты несколько дней уже ездили и знакомились, и это было весьма интересно, хотя не менее интересными были и непредусмотренные, случайные искорки впечатлений.

Ну, вот, например, рыдающие на солнце серовато-фиолетово-красноватые индюки, важно пасущиеся большими семьями на весенней травке. Рыдать они принимались дружно, когда я приближался к ним с фотоаппаратом наизготовку – и они смотрели на меня настороженно и недоверчиво. Их явно мещанский, строго положительный ум не вмещал вероятности моего чисто бескорыстного, чисто духовного приближения, а потому они разом вытягивали шеи с дряблыми красноватыми складками и дружно рыдали – рыдали перед непонятным: ведь я не кормлю их и как будто не пытаюсь сворачивать им шеи – так зачем же, зачем? Ах, как они мне кого-то напоминали!

Или – морской песчаный, диковатый и захламленный пляж у поселка Хулеви, где район имеет выход к морю и куда в летнее жаркое время ездят местные жители, имеющие автомобили... Да, был, был все же один солнечный день, даже полтора, мы побывали в Хулеви как раз тогда, и я даже полежал ровно тридцать минут на солнце, подставив противно белую свою кожу лучам, нежась и отрешенно глядя на медленные плоские волны, лижущие серый песок с мелкими ракушками и полуистлевшими, вынесенными зимними штормами ветвями и бревнами, которые доживали здесь свою земную жизнь – утратив, очевидно, дух, но сохранив еще тело, разлагаясь медленно, не принося этим никому беспокойства, а даже наоборот: давая приют всяким мелким мошкам, букашкам, зашевелившимся сейчас на ярком весеннем солнце. Вот же мудрость и хозяйственная щедрость природы – безотходное производство!

А заросли лавров, мандаринов и чая? Экзотика, сплошная экзотика! А цветущий, благоухающий рододендрон, броско-желтый, с удивительно изысканной формой цветков и аристократическим ароматом – неожиданным, потому что растет он здесь где придется, можно сказать, на любых задворках и даже помойках... И конечно сиреневые гроздья какого-то вьющегося, паразитирующего на больших деревьях, растения, выставленные напоказ с пышным бесстыдством... Это ли все не отблески, частицы живого Светила? Это ли не постоянное *напоминание*?

Нет, нет, хорошо мне – было! Несмотря на дождь, который, как говорят, всегда льет здесь в весеннее время, но это тоже хорошо, потому что способствует урожаю цитрусовых и кукурузы. Хорошо было мне ездить и ходить со спутником моим...

Да, вот и спутник мой тоже – Нодар Николаевич Шония. Удивительный человек (все люди ведь удивительны, если внимательно смотреть!) – невысокий, коренастый, лет пятидесяти, округлый, мягкий мужчина, седеющий. Но в нем: в лице, в глазах, в движениях его – несомненные признаки нерастрченного еще детства. Особенно в глазах. Так взглядывал он иной раз на меня, в таком ожидании радости и шаловливом озорстве – незапланированном, непредусмотренном! Не *отблески* ли это и в нем? Хотя и никло это – привычно и неизменно – под бременем неотложных дел... И все же думаю, что путешествие со мной было и для него неожиданным отпуском, от которого он, правда, в конце третьего дня – после наших упорных поездок по многодетным семьям – устал. Наступил «уик-энд», и на пару дней меня поселили в очаровательном домике для гостей.

Итак, жизнь снова засверкала красками для меня в этой весенней поездке в Грузию, радость жизни вернулась! Вновь понимал я, кажется, зачем явились мы в этот многоцветный многообразный мир и каковы истинные его ценности! Вновь – после довольно унылого зим-

него периода в столичных каменных джунглях и тоскливых общений с рецензентами и редакторами советских газет и журналов... Радоваться надо, радоваться! Ведь есть чему.

Сама тема командировки тоже, разумеется, интересовала меня, хотя, видимо, не совсем так, как хотел бы редактор. Но я постараюсь, конечно же, постараюсь... Материал, собственно, уже собран, все записано, дома сооружу что-нибудь для газеты, хотя, если честно, мне не совсем понятно, чего от меня хотят. С одной стороны, тема, конечно же, социальная – рост рождаемости и все такое, а с другой – экзотическая: Грузия («Кавказ подо мною, один в вышине...»), красота горной южной природы, интересные по-своему люди...

Ну, вот например. Одна семья, где десять детей, и другая семья, где тоже десять детей. Две семьи, но какие же они разные! Одна – бедность, грязь, убогость, каменновековый какой-то быт, жалкие лица детей: «Зачем, мама, ты произвела нас на свет в таком безнадежном количестве?» Другая же семья совсем иная: красивая мать, худенькая, стройная, легкая еще на подъем, с черточками аристократизма на как будто бы даже и нестаром лице. Да, да, удивительная женственность, удивительная теплота в лице Паши Петровны так и светилась! Интересно, что в полной мере передалась она одной из старших дочек – пышноволосой, стройной и застенчивой черноглазой Луизе, красавице, в которой – вот что важно! – нет никакого ломания, высокомерия, но зато есть, очевидно, достоинство истинное... Она вышла нас проводить после моего корреспондентского разговора с ее матерью и отцом. С нежной и робкой, застенчивой улыбкой на бледном красивом лице вышла она, и в руках у нее была ваза с яблоками.

Был вечер, и яблоки эти горели золотом – и не от вечернего солнца, как будто бы, а от того, что держала вазу в руках именно Луиза... Вот, вот, кстати, тоже несомненные отблески солнца, сияющие и в пасмурный день! И, думаю, что если бы солнце в тот момент скрылось (а оно, вот совпадение, как раз выглянуло!) яблоки все равно горели бы в руках у Луизы, потому что сияние исходило даже не столько от них, сколько от лица Луизы, от стройной фигуры ее, облаченной в сиреневый костюм и черную модную водолазку, которая, несмотря на свои усилия, не в состоянии была скрыть еще два роскошных яблока, светящихся, кажется, сквозь черную ткань...

Отец же ее и других девяти – приземистый, строгий, седой, с густо-черными бровями, уверенный в себе, сильный мужчина. Михаил Бадурович Гогилава. Явно горд своим многоплодием, да ведь и дети все хорошо смотрятся – красивые все, не только Луиза, – отнюдь не несчастные, а главное занятие в семье – труд. Да, труд, разумеется, но еще больше понравился мне присущий всем детям отблеск свободы, этакая теплота и жизнь в глазах. Вот же главная суть! Жизнь души, а не только здорового тела. Чем не тема для очерка?

И вот еще тема: государство практически одинаково помогает (то есть почти и не помогает) и той, и другой семье, но какие же разные эти семьи! Так что дело, выходит, вовсе не только в материальной помощи государства, хотя она безусловно нужна. Пройдет такой материал в газете? Вряд ли...

Была и еще семья интересная – тринадцать... Когда считали для меня – я имена аккуратно в тетрадку записывал, – то сбились, насчитали всего лишь двенадцать. Кто же тринадцатый-то? Вспоминали, вспоминали все скопом, никак не могли вспомнить, я даже спросил: может, у вас все же двенадцать? Нет, сказал отец, Габриэл Гоциридзе, тринадцать, помню ж я. Сказал с уверенностью как будто бы, а на самом деле заметил я тень сомнения на здоровом и молодом сравнительно его лице (ему всего-то пятьдесят шесть)...

Стали опять перечислять аккуратно и, наконец, установили ошибку: не записали одну из тех, кто как раз при разговоре нашем присутствовал – девочку, Джульетту. «Какие проблемы у вас сейчас самые главные?» – спросил я папашу. «Главные позади», – ответил спокойно Габриэл Гоциридзе. Оно и правда, подумал я, младшей-то уже десять исполнилось, а старшие давно все работают. «Вот проблема: машину хотим купить, а очереди никак не дождемся, – спохватился отец. – Потом у нас ведь очередь на „Жигули“, а нам „Волгу“ нужно, она побольше,

на „Жигули“, всех не посадишь, нас много...» Ничего себе проблема, подумал я. А Габриэл Гоциридзе, как выяснилось, когда-то парикмахером работал, вот и скопил, да и дети, надо сказать, все работающие – целый коллектив, бригада семейного коммунистического труда... Влияет тут материальное? Влияет. Но в нем ли главная суть?

И все же рекорд по количеству детей побил семья Зарандия. Он – отец всех, Рамин, – познакомился с нею – будущей матерью-героиней, Лолой, – когда ему было сорок три, а ей едва девятнадцать. И... Вот они, имена: Нодари, Мери, Заури, Нели, Мишутка, Гено, Валерьян, Теймураз, Батломе, Карло, Таризель, Кетеван, Гоги, Изольда, Мате, Автандил и Тинатин... Музыка! А получается сколько? Семнадцать! Значит, не ошибся я, всех перечислил. Одиннадцать мальчиков и шесть девочек! Сам отец умер недавно, не дожив всего лишь года до своего восьмидесятилетнего юбилея. Матери пятьдесят семь, бодря еще, несмотря на то, что шестнадцать раз была беременна и рожала – только одна двойня была у них, последние – Автандил и Тинатин. Отцу, Рамину, было тогда уже шестьдесят восемь лет...

Эта семья беднее, чем семья Гоциридзе, но в общем-то не так уж и страдают, все работают – на предприятиях, в совхозе или по дому, – а государство в сущности помогает так же, как оно помогает другим...

Каков же вывод? Необходимость труда, трудового воспитания в многодетной семье? Но ведь это само собой, это естественно, что в многодетной семье основа воспитания – труд, это как и везде. Но вот ведь и еще одна семья, к примеру, и, по-моему, не менее любопытная. Всего двое детей: сын и дочь. Дочь умерла недавно, а сын погиб на войне. Умер и отец, а мать живет теперь памятью своего погибшего сына – до сих пор, вот уже 39 лет, она ходит в черном. Дом превратился в музей, где по стенам развешаны фотографии сына, на столе разложены письма, приходившие с фронта, его личные вещи. Мать – хранительница музея и печальной памяти о войне, ее знают во всей Грузии, и в День Победы, 9-го мая, каждый год сюда съезжаются тысячи людей – почтить память погибших. На железных воротах железные буквы: «Амиран Латария. 1922—1943». Разве менее достойна эта семья?

Так о чем же все-таки писать мне в статье? Что выбрать?

...Каменистая тропинка спускалась к чистейшему говорливому родничку, выложенному белыми выщербленными известняками, а в густых кущах разнообразных кустарников и деревьев перекликались изредка, напоминая о своем существовании, соловьи. Изредка, изредка – потому что и для них ведь сейчас не было солнца! Но бабочка была у меня, была! И хорошие мысли о командировке, что ни говорите, были тоже...

Домик, в котором я жил со вчерашнего дня, был тоже, кстати, великолепен. Деревянный, ажурный, голубенький, словно порхающий над обширным прудом меж вековых развесистых ив, увитый виноградом и осеняемый зарослями пятиметрового бамбука и пальм – домик, построенный, как мне сказали, для визитов самого-самого большого начальства. Ожидали года два назад самого Леонида Ильича, говорят, потому и построили срочно, но великий престарелый Генсек так и не собрался. А домик остался зато.

В самом домике, несмотря на изящную обстановку, тоже было сейчас по-осеннему мрачно и холодно. Однако теперь я не чувствовал мрака и холода, потому что было, было запечатлено уже яркое, несомненное нечто: солнечная яркая бабочка! Пасмурным днем, как это поется в песне, видел я синеву...

Темнело, хотя дождь так и не полил, я пошел отмывать ботинки к роднику. Скоро должна была прийти Луна. Да, я не оговорился, Луна в данном случае не небесное тело – оно-то как раз и не могло бы прийти из-за туч, – а вот Луна-женщина, Луна-грузинка с таким поэтическим именем и вполне человеческой, грузинской фамилией Кухалишвили должна была прийти непременно. Как она уже приходила вчера вечером и сегодня утром, приставленная директором цитрусового совхоза ко мне, чтобы приносить завтрак и ужин. И ударение в слове, означающем имя ее, было, в отличие от небесного тела, на первом слоге: Луна.

Итак, я ждал, когда придет Луна, а пока был один во всем домике и ближайших окрестностях, если не считать расхаживающего невдалеке сторожа, пожилого мужчину, тоже грузина, по имени Ваньчжа (так, по крайней мере, звучало имя его в устах Луны) – добродушного, молчаливого, который обеспокоился, когда я ушел в горы и довольно долго, с его точки зрения, не приходил – он думал, что я заблудился. Даже крикнул он несколько раз – в молчаливые, подернутые серой мутью горные заросли. Я слышал крик, но не думал, что предназначен он для меня. Ему на радостях я тоже сказал, что сфотографировал прекрасную бабочку.

Отмыв ботинки в хрустальной воде ручейка – мутная, она все равно весело понеслась вниз по гладким камешкам в озеро, осветляясь на пути, – я вошел в домик, развернул пакетик с бабочкой. Еще полюбовался ею, даже Ваньчже показал, он подтвердил, что много здесь таких летает, отчего я окончательно успокоился. Убрал бабочку, вошел в свою комнату и включил телевизор.

Шел хоккей – передача с первенства мира, – я посмотрел немного, на звук пришел и Ваньчжа, сел скромно в дверях. Однако игра была неинтересной, Ваньчжа, посидев молча, ушел. Я выключил телевизор, принялся листать свои записи. И, наконец, в гостиной за дверью послышался голос Луны. Признаюсь, услышав его, я обрадовался не слишком-то духовно – так, видимо, радовались собаки Павлова при знакомом звуке звонка. Но в следующий миг эмоции мои стали более возвышенными: был еще один голос, кроме голоса Луны, и тоже женский, кажется, совсем молодой.

Я вышел в гостиную.

И первое, что бросилось в глаза – молодая девушка. Откуда она? Я раньше ее здесь не видел.

Что меня удивило сразу: очень похожа на русскую: почти русые, хотя и недлинные волосы, серые глаза, тонкие брови и нос тоже небольшой, ровненький, чуть-чуть вздернутый, как у хорошенькой русской. И странность была в том, что говорила она по-русски трудно, с явным грузинским акцентом, что так не вязалось с внешностью. Очень приятная была у нее улыбка – приветливая, светлая, обнажающая белые ровные зубы и демонстрирующая аккуратные ямочки на щеках. Да, просто очаровательная улыбка, что сама она наверняка знала, ибо улыбалась смело и часто, глядя прямо в глаза. Хорошая улыбка!

А вообще-то исходило от нее сияние. И если бледная Луиза – та, что с яблоками, – тоже сияла, но была она все же чисто здешней девушкой, иноземкой для меня, так скажем (как и милая женщина лет сорока Луна Кухалишвили), то эта сероглазая со вздернутым носиком тотчас же показалась мне заброшенной сюда с любимой моей ситцево-березовой родины. Землячка, почти сестра.

– Как тебя зовут? – спросил я, почему-то волнуясь.

– Тодо, – сказала она, напряженно и твердо произнося первый согласный звук, как почти все грузины, почему я и услышал именно Тодо, а не Додо, как было на самом деле. И изумился несоответствию ее имени русской внешности.

А еще, по привычке, закрепил условную связь имени с чем-нибудь, чтобы не ошибиться и не обидеть. И это что-нибудь оказалось почему-то «тодес», то есть «спираль смерти» в фигурном катании. Странно однако...

И тотчас вспомнил я почему-то про бабочку, взял пакетик, развернул его и показал Додо и Луне.

– Смотрите, какая прелесть, правда? Я ведь их собирал когда-то, а сейчас просто фотографирую.

– Я таких видела. У нас много таких летает, – сказала Додо

с очаровательным своим грузинским акцентом, взяв осторожно пакетик и разглядывая мой счастливый трофей, а я обратил внимание на ее совершенно еще детские руки с обгрызенными ногтями, и эта подробность меня почему-то очень растрогала.

На вид ей было лет восемнадцать, и держалась она поначалу как-то диковато, натянуто, хотя и раскованно в то же самое время. Но раскованность была не совсем естественной, нарочитой, фактически тоже детской, что, опять же, только усилило мою внезапную и явную симпатию к ней.

На самом деле ей оказалось семнадцать. Десятиклассница, кончает школу в этом году – это выяснилось, когда мы уже сели за стол, великолепно сервированный Луной при помощи Додо. И зелень была на этом столе – лук, цицмати и кинза, – и мясо, и курица жареная, и жареная картошка. А еще весело водрузила Луна на богатый наш стол сразу три бутылки – одну водки и две сухого вина.

– Зачем так много? – спросил я.

Но Луна только добро и застенчиво улыбалась.

Я вообще-то не пью, если только сухого, да и то редко, но тут как было не выпить. И мы подняли рюмки, и предложила Луна тост по грузинскому обычаю за мое здоровье. И с удивлением увидел я, что Додо выпила рюмку водки запросто, хотя и морщилась, но выпила до самого доньшка. Пришлось, значит, и мне.

И как-то так получалось все у нас дружно и весело за этим столом, сердечно и хорошо... Луна вообще добрая очень женщина, это написано на ее лице, в улыбке проявляется, очень милая женщина, только вот грусть постоянная, это я в первый же день заметил. Полноватое темноглазое, слегка горбоносое лицо, на котором застыла жажда долго и тщетно ожидаемой радости – так казалось мне. Ну, а Додо...

Да, за столом выяснилось, что у Додо русская бабушка, а потому аккуратный задорный носик ее и большие серые глаза с длинными темными шелковистыми ресницами, и русые волосы – это, конечно, бабушкино наследство. И должен признаться: наследство это нравилось мне все больше и больше.

– Оставьте ваш адрес, – сказала Додо после второй, кажется рюмки. – Мы вам осенью мандаринов пришлем.

А вообще она будто бы совсем не пьянела, только чуть-чуть хмурила свои тонкие брови, этак сосредоточенно, и взгляды на меня бросала изредка, но чувствовал я, как словно нити между нами протягиваются и будто магнитом тянет меня к этой девчонке. Смотреть на нее, слушать ее было одно удовольствие.

Луна позвала Ваньчжу, он приветливо выпил с нами, хотя сел не за стол, а около открытой двери, потому что смотрел одновременно телевизор, который стоял в соседней комнате и который он все же опять включил. Слово за словом, я рассказывал о своей поездке, о многолетних семьях, спрашивали о Москве, в которой никто из троих пока не бывал, я отвечал, потом стал объяснять, почему фотографирую бабочек, да и не только бабочек, а вообще красоту. Сказал, как всегда, что это, на мой взгляд, самое ценное в жизни и разразился, конечно же, комплиментами в адрес Додо... Она сияла, она светилась, молодая жизнь так и искрилась в ней, а еще я сказал, что вижу в ней что-то родственное – моя красивая бабушка в девичестве была на нее похожа...

Потом то ли Ваньча, то ли Луна, кто-то из них пошутил, что Додо, мол вовсе не к чему идти домой, раз она моя родственница, ведь тут в комнате вторая кровать... Погода плохая, завтра воскресенье, в школу Додо идти не надо, а мне одному здесь спать скучно и холодно. Да я ведь, к тому же, и гость.

Все смеялись весело, а Ваньча добавил, что Додо вообще-то взрослая уже девушка, совершеннолетняя (у них это, оказывается, в шестнадцать), а почему бы ей на самом-то деле не переехать, к примеру, в столицу, раз родственница? Тем более, что я сказал ведь уже, что неженат...

Шутки шутками, но видел я, что Додо все больше хмурится как-то напряженно, а шутки Ваньчи и Луны ей нравятся, и смех ее становится нервным. Ах, Додо, милая девочка, думал

я уже весело (хотя почему-то и с грустью), с какой приветливой внимательностью смотришь ты в открытый перед тобой мир, как искренне воспринимаешь жизнь! Надолго ли?... Шутки шутками, но я явственно ощущал, как словно незримые нити протягиваются между нами – мною и этой очаровательной семнадцатилетней девчушкой, – и взгляды, которые она на меня вдруг бросала, проникают в самую душу, и сердце мое, игнорируя разум, колотится гулко, и ком в горле растет.

И ей же Богу, не в том было дело, что мы выпили. А в том, что я вот здесь, сейчас, в сердце Грузии, и слева, совсем близко хмурится сосредоточенно и смеется очаровательная семнадцатилетняя Додо, и смотрит на нас, улыбаясь, добрая Луна, и Ваньча шутит с искренним добродушием, а рядом с нашим домиком – бамбук и пальмы, и горные заросли, и бабочка осталась в моей памяти, в пакетике и на пленке, а за густым пологом туч там, в вышине, светят вечные звезды, и вышла на ночную прогулку луна, неся на холодном, печальном лице своем отблеск горячего солнца! Вот в чем было дело! Золотые минуты...

И еще: не в этом ли – не в таком ли вот веселом бесстрашии радости – как раз и заключен тот самый, так тщательно выискиваемый нами смысл? – радостно думал я. Что-то я должен сделать сейчас, как-то продлить...

И встал вдруг со своего стула у двери и отправился куда-то Ваньча, а за ним вышла и добрая Луна. Мы с девочкой остались вдвоем...

Сейчас, вспоминая, конечно же, фантазирую я: могло бы? В фантазиях очень даже! И не было во всем том никакого подвоха, думаю, хотя теоретически он мог бы конечно быть. Ведь я журналист из столицы, мало ли, что я о них обо всех напишу, бывали случаи, когда организовывали местные власти подставы для журналистов – на всякий случай. И чтобы проверить. Но нет, нет, в тот раз – не было! Даже оскорбительным было бы думать так! А Луна и Ваньча просто поддались атмосфере – возможно, даже услышали, ощутили мысли мои, – к тому же с самого начала заметил я, что оба они слегка равнодушны друг к другу. Вот и вышли оба, чтобы и нас с Додо оставить на какое-то время и самим, так сказать, тет-а-тет оказаться, думаю. Добрые люди... А для меня словно призывный звук трубы прозвучал. Но...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.